

Очень хотелось солнца

Автор:

Мария Аверина

Очень хотелось солнца

Мария Александровна Аверина

Короче говоря. Повести и рассказы современных авторов

Всем людям на земле одинаково светит солнце, и все они одинаково стремятся к счастью. Вот только понимает его каждый по-своему, и часто то, чем вдохновлен один, вызывает лишь недоумение другого. Счастье увлеченного своим делом ученого-ядерщика из повести «Иов XX века» едва ли будет понятно героям «Неудачного детектива», а трагическую радость прощения в рассказе «Белый пион» не то что разделить, но и вынести дано не каждому.

В новом цикле повестей и рассказов Марии Авериной перед глазами читателя предстает целая галерея наших современников, и каждый из них по-своему обретает то «солнце», которого так долго «очень хотелось...».

Мария Аверина родилась в 1985 году. Живёт и работает в Москве.

Является членом Российского союза профессиональных литераторов (Московское отделение) и Союза писателей России (Московская городская организация).

Работает в сфере образования, преподаёт русскую литературу в Международном Славянском Институте, Институте среднего профессионального образования имени К. Д. Ушинского ГАОУ ВО МГПУ. Является помощником директора института среднего профессионального образования имени К. Д. Ушинского в Московском городском педагогическом университете.

Мария – модератор литературного блога в социальных сетях «Литературный клуб Марии Авериной». Руководитель литературного Университетского (МГПУ) проекта ПрочитаНо.

В 2016 году по итогам XII Международного поэтического конкурса «Союзники» вышел авторский сборник стихов Марии Авериной «Я не ищу внутри слова».

Публиковалась в журналах: «Слово/Word», «Лифт», «Юность», «Костёр», «Дошкольник», «Тверьлайф», «Гончаровская беседка», «Московский железнодорожник», «Кавказский экспресс», «Южный остров» и других.

Лауреат премии Блог-пост 2021 – как «Лучший книжный блог года на Facebook».

Мария Александровна Аверина

Очень хотелось солнца

© Аверина М., текст, 2022

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Иов XX века

Очень хотелось солнца.

Но солнца не было уже давно. Ни мутным летом, которого он почти не помнил, поскольку проторчал все его месяцы в полусыром подвале института, разбирая набрякшие, засаленные, склизкие фолианты с никому теперь уже не нужными отчетами о проведенных «во времена оны» исследованиях. Ни ранней осенью, когда вместо того чтобы с Ленкой и теперь уже двухлетней Анюткой рвануть, как в прошлые годы, на море, он, чертыхаясь про себя, от зари до зари по колено в грязи махал топором в деревне, пилил, строгал, приколачивал... После смерти матери отец окончательно отказался жить в Москве. В квартире, видимо, все напоминало ему о жене, а потому безмерно раздражало, и он собирался

зимовать в Никитино. Николай изо дня в день под мерзко секущим дождичком добросовестно копал мелкую, неуродившуюся картошку, таскал мешки с яблоками, которые остервенелая Ленка, отдувая с лица длиннющую рыжую челку, сушила, пекла, варила, закатывала в банки; помогал старику поддомкратить дом, поменять нижние сгнившие венцы, кое-где «подлить» осыпающийся фундамент, утеплить почерневший сруб... На это, как выяснилось значительно позже, и ушли последние родительские сбережения. Хотя, впрочем, об этом никто потом не сожалел. Все оказалось вовремя: предусмотрительный отец все купил и запас сильно загодя – словно знал, что с этой осени больше никогда не увидит в своем кошельке «ленинских» десятирублевых и двадцатипятирублевых.

Солнца не было и тогда, когда Николай с семьей вернулся в Москву. Впервые оставшись одни в крохотной темноватой родительской «трешке», они сперва растерялись. Еще не закрывшееся после смерти матери «пустое место» словно стало больше и шире. Распахнув шкаф в комнате отца и обнаружив там лишь старую кепку, сломанный зонтик и потертый ремень, Николай второй раз за этот год испытал какое-то тяжелое, подсасывающее в солнечном сплетении чувство тоски... С отъездом отца «пустота» распространилась на все комнаты, загоняя молодых хозяев на кухню, где они, уложив почему-то целыми днями нудно капризничавшую Анютку, несколько вечеров подряд молча пили чай до самого того момента, когда так же молча можно было отправляться спать. Обошедшийся в этом году без бабьего лета сентябрь набряка?л ноябрьской нудо?той, наполняя комнаты сыростью и тяжелыми предчувствиями.

Ситуацию, как всегда, спасла Ленка.

– Так... Ну хватит... Эдак мы тут с тобой совсем изойдем...

И немедленно подпрягла его двигать мебель. Он покорно подчинился, не столько потому что ему хотелось перемен, сколько из желания хоть чем-то себя занять, чтобы изгнать из души эту склизкую дождливую муть. Ленка с сердито-озабоченным видом целыми днями скребла, мыла, чистила, мела. По ее указаниям он что-то сдирал и прибывал на новое место, перебирал, перетаскивал, выколачивал ковры, выбрасывал... И только Анютка со счастливым визгом, не боясь теперь быть одернутой вечно бурчащим дедом, на своих еще не до конца слушающихся ножках носилась по всей протяженности комнатного «трамвая» – ей единственной в этой вечно сизой, промозглой мгле было по-настоящему весело.

Он по привычке каждый день уезжал на работу, хотя и понимал, что спокойно мог бы этого не делать: институт умирал. Лаборатории не работали уже давно, экспериментальные цеха окончательно встали в начале осени. В кабинете, где ранее соседствовали всего два стола – его и Виолетты Степановны, – теперь теснилось четыре. Но зато в конце коридора, у балкона, в трех последних смежных комнатах появились какие-то вдумчивые люди со шныряюще-маслеными глазами, в первый же день пришпандорившие на одну из дверей черную с золотом, словно только что упертую с кладбища табличку: «Риелторское агентство».

– Зарплату я вам чем-то должен платить? – азартно оправдывался шеф перед каждым попадавшимся ему в коридоре. – Нет, но вот чем, а?

К слову сказать, самого шефа никто никогда ни о чем не спрашивал, однако он все равно считал своим долгом остановить кого-нибудь на бегу и, заглядывая в глаза, настойчиво теребить:

– А? Нет, ну вот чем? Чем я вам должен платить зарплату, скажите на милость?

Но, невзирая на разномастных «подселенцев», которых по всем этажам становилось с каждым днем все больше и больше, зарплату он не платил уже четвертый месяц. По этому поводу мэнээсы[1 - МНС – младший научный сотрудник.] приезжали на работу к полудню, если вообще приезжали – у далеко живущих от института не было денег на транспорт. А те, кто все же добирался и оказывался за своим столом, оставшуюся часть дня растерянно перебирали бумажки, открывали и закрывали какие-нибудь папки, неизвестно что и зачем туда подшивая. Ранее царившая в институте атмосфера некоторой ироничной шутливости и ласковой фамильярности, которая так нравилась Николаю, куда-то сама по себе подевалась. Люди хмуро здоровались друг с другом, молча отсиживали за столами положенные часы и, так же неприветливо попрощавшись, растворялись в сумраке институтского лабиринта, в котором давно уже горела только каждая третья-четвертая лампочка, а затем в недвижной водяной взвеси насупившихся осенних улиц, от которой не спасали никакие зонты.

В коридор теперь вообще старались не выходить. А если и возникала такая необходимость, то крадущимися шагами жались вдоль стен. Ибо в три последние у балкона комнаты зачастили не только дамы в изрядных шубах,

сопровожаемые молодыми молчаливыми «бычками», но и крепкие, приземистые «кореша» в невероятного цвета пиджаках, за которыми так же неотступно, как за дамами, следовали не менее непреклонные «носители» причудливых телефонов. Еще вчера хорошенькие, а ныне какие-то полинявшие лаборантки, завидев шествующую в направлении могильной таблички подобную компанию, как мелкие рыбешки, ретиво брызгали в разные стороны, стараясь заскочить в первую же попавшуюся дверь и, затаившись, переждать, когда проплывет мимо этот хищный акулий косяк. Та же, которая не успевала (или ей не везло – ближайшая дверь оказывалась заперта), в ужасе замирала, натянуто улыбаясь, в ожидании либо быть потрепанной по щечке, либо ущипленной за мягкое место.

– Подумайте, какие наглецы! – низким басом презрительно провозглашала Виолетта Степановна, возвращаясь с балкона, куда она, демонстрируя полное презрение к «подселенцам», по-прежнему ходила курить неизвестно откуда доставаемый ею дефицитнейший «Беломор». – Стои?т специально консервная банка! Так нет же! Весь пол этими своими «Мальборо» загадили... Буржуины сволочные!

Протиснувшись между столами и попутно непременно снеся с них своими не утратившими с возрастом аппетитной пышности боками кипы бумаг, она с размаху плюхалась на тоскливо подвывавший под ней стул, раздраженно открывала какую-нибудь очередную, никому давным-давно не нужную папку и сосредоточенно утыкалась в стройные ряды машинописных буквоцифр, нервно зажав карандаш в не по возрасту вызывающе накрашенных ярко-алых губах.

Но Николай знал, что она также ничего не делает, как и он. Потому что делать было попросту нечего. И лишь по какой-то автоматической привычке скорее для самого себя, а не из страха нарушить дисциплину! – как раньше, ни разу не опоздав, каждое утро неизменно обгоняя Виолетту Степановну в холле, он поднимался в этот кабинет. Сев за стол, как всегда, обязательно точил все найденные на нем карандаши, наводил порядок в ворохе ручек, половина которых давно не писала, аккуратно подравнивал ряды картонных папок, стопкой высящихся на краю. И только после всего этого доставал привезенную из дому «общую» тетрадь, раскрывал ее и погружался в расчеты.

Докторскую он начал писать два года назад тайком от всех, вопреки правилам даже не заявляя тему и не утверждая ее у шефа. Хотелось все сперва понять самому, заложить прочную основу, да такую, что, даже если тему потом и

переиначат, незыблемое здание концепции тем не менее не рухнуло бы под нажимом прагматики мышления начальства, и чтобы сам он не утратил интереса к собственной работе. Начал и... очень скоро понял, что сделал это зря.

Так и не осиливший рассвета день теперь обреченно угасал. Сквозь невесть какими трудами добытую Ленкой модную гардину Николаю было видно, как однообразно-серой акварелью по домам, деревьям, машинам, людям ветер размазывает омерзительную слякоть. Не разрезаемая привычным вечерним белесоватым светом мутная мгла постепенно уплотнялась – весь октябрь, как раз с того момента, как Николай окончательно перестал выходить из дому, на улицах почему-то не зажигали фонарей. Лишь изредка подъезжавший автобус выхватывал изнуренными фарами мелкую водяную сыпь – настолько, казалось бы, полностью подменившую собой воздух, что становилось трудно дышать, – и снова наступала полная тьма.

«Прям как в войну, – некстати подумал Николай, – не хватает только крест-накрест заклеенных стекол, далекой канонады и завываний сирены воздушной тревоги!»

И по какой-то безотчетной привычке прикрыв свою драгоценную, уже порядком пообтрепанную, на три четверти исписанную, вспухшую от закладок и вклеек «общую» тетрадь, он неохотно поднялся из-за отцовского письменного стола и побрел на кухню.

Щелкнул выключатель, слепой желтоватый свет залил шестиметровый квадрат, так любовно и с умом обставленный Ленкой, что в иные, более радостные времена здесь собиралось до десяти человек гостей и еще оставалось место для грифа гитары. Помимо дизайнерских навыков его жена, как оказалось, обладала еще и неплохими психологическими. Это стало понятно в первый же вечер, когда он привел ее знакомиться с родителями и она после вполне себе официально выглядевшего застолья вдруг совершенно по-свойски перемыла всю посуду, чем до самой смерти будущей свекрови заслужила ее любовь и уважение. В дальнейшем выяснилось, что Ленка не только добросовестная хозяйка, но и, неожиданно для ее легкомысленного характера, приличная мать: с довольно своенравной Анюткой она договаривалась легко, чуть насмешливо и как-то совершенно несерьезно относясь к многочисленным капризам дочурки.

Но все эти достоинства меркли в глазах Николая перед двумя Ленкиными качествами, которые, собственно, и прекратили в свое время мучительные

сомнения новоявленного аспиранта: что сперва – жениться или написать кандидатскую? Ленка была не только отчаянно-рыжей – причем того самого редчайшего, неповторимого солнечного оттенка, какой нечасто встречается среди «ржавоголовых», – но и умела улыбаться так, что, казалось, в самой темной комнате от ее тихого гортанного смеха занимался свежий летний рассвет. И поэтому, когда в их уже теперь пятилетней семейной жизни время от времени зачинались грозы – а куда же без них? – и яркие Ленкины кудряшки в гневе разметывались вокруг ее покрасневшей мордахи, Николай в тоскливом ожидании конца «семейной разборки» неизменно начинал улыбаться. Этим он, конечно, сперва доводил жену до белого каления, да так, что она порой стучала по нему своими остренькими безудержными кулачками, но тут было главное – выдержка: молчать и улыбаться. И он упорно продолжал молчать и улыбаться до тех пор, пока изнемогшая от ярости жена внезапно не начинала хохотать, и тогда, сквозь еще клубящиеся на семейном горизонте тучи пробивались те самые, так им любимые, перворассветные лучи.

Но сейчас и этого солнышка он был лишен. Ленку с Анькой на последние триста рублей Николай в середине октября отвез в Никитино к отцу, поскольку прокормить семью уже был элементарно не в состоянии.

Это решение он огласил супруге как раз в тот момент, когда она крайне внимательно изучала содержимое двух трехлитровых банок, стоявших перед ней на кухонном столе. Каждая из них примерно на треть была заполнена каким-то белым порошком.

– Так. Ну, это на сегодняшний день все, что у нас есть! – заявила она, когда он шагнул в дверной проем. – Остатки сухого молока из Анькиной гуманитарки и столько же муки... Консервная банка морской капусты. Чем мне вас кормить?

Повисла недолгая пауза – обычно нетерпеливая Ленка долгого молчания в разговоре не выносила.

– У тебя деньги есть? – наконец спросила она.

– Триста рублей... – начиная на всякий случай улыбаться, промямлил Николай.

– Понятно... хотя... что мне с твоих трехсот рублей... Тут и по талонам ни хрена достать невозможно...

И Ленка опять углубилась в созерцание содержимого банок, медитируя на него сквозь стекло.

– Лен, – он аккуратно, чтобы «не сорвать чеку», пододвинул табуретку и подсел к жене поближе, – мне кажется... Тебе с Анькой надо ехать к отцу. Там хоть какие-то запасы в доме... И коза у бабы Маши, соседки... если, конечно, не зарезали с голодухи... Аньке-то стаканчик молока не пожалеет – не жалела же до сих пор...

Ленка покраснела, набычилась, угрожающе отдула челку, но неожиданно по кухне брызнули солнечные лучи.

– Вот на твои жалкие сбережения мы все туда и доедем. Берешь свою «общую» и там за печкой, в тишине и уюте, творишь... Ты же понимаешь, что твой шеф никому ничего платить не будет.

Опять повисла пауза. Николай все еще продолжал улыбаться – так, на всякий случай.

– Угу! – Ленка отличалась удивительной сообразительностью. – Понятно... Книги... Картотеки... Библиотеки...

Она еще секунд тридцать помолчала.

– Иначе говоря, ты мне сплавляешь своего папашу, а сам тут займешься мировыми открытиями. Мы тебе здесь мешаем, да?

Но она прекрасно знала, что это не так. Их жизнь сложилась как-то сама собой, и в этом уже отлаженном механизме его первая, а теперь и намечавшаяся вторая диссертация не были той песчинкой, которая могла бы заставить сбиться всю систему. Напротив! Бывшая однокурсница и отнюдь не двоечница Ленка, может быть, решив, что одна семья двух кандидатов не выдержит, а может, просто поленившись, в аспирантуру не пошла, хотя ее усиленно туда звали. Однако к научным устремлениям мужа относилась вполне серьезно, вникала в его работу и иногда даже подавала неплохие идеи, по-прежнему досадливо отмахиваясь, когда он заговаривал о том, что и ей неплохо бы все же пойти в аспирантуру, пока не вышли сроки. По правде сказать, быть может, и он не защитился бы, не

будь Ленки: все, что надо было перепечатать, – было перепечатано, сброшюровать – сброшюровано, где-то у кого-то подписать – подписано. Он и сам не заметил, как она все это ловко провернула – все его силы уходили на борьбу с шефом, тогдашним руководителем диссертации, а ныне начальником. Ибо шеф упорно настаивал на переработке целой главы, причем странным образом требовал убрать из нее все самое, по мнению Николая, ценное. И если бы не Ленкины психологические и дипломатические способности – одному богу ведомо, чем бы это все закончилось: именно она каким-то образом достигла компромисса между ними, сумев заставить Николая извлечь из диссертации требуемое и подсказав, чем не менее ценным его можно было бы заменить...

...Ленка еще раз отдула от лица рыжую челку и поднялась.

– Ну хорошо, предположим, я сейчас соберу шмотки. А ты на что жить будешь? Может, поедem вместе?

Но она с Анькой все же осталась в деревне с дедом, а он вернулся в Москву.

– Папка-а-а-а-а! – до сих пор висел в ушах Николая душераздирающий Анькин вопль, когда дед, желая отвлечь от расставания до беспамятства любившую отца малышку, увел ее к бабе Маше смотреть на козлят. – Па-а-а-ап-ка-а-а-а!

Обмануть эту прозорливицу не представлялось возможным, ибо еще этим летом подходить к козе ей категорически запрещалось, а тут взрослые вдруг сами разрешили ее гладить. Характер у Аньки был Ленкин. И это стало понятно с момента самой первой козырной забугорной пустышки, которую кокетничавшая родившейся дочкой мамочка захотела запихнуть в рот любимому чаду на прогулке. Анька беззубыми деснами секунду пожевала соску и затем, покраснев от натуги, выплюнула через колясочный борт. Все дальнейшие усилия по продвижению этого модного приспособления заканчивались ничем: Анька категорически не желала никаких заменителей, кроме «натурального продукта» – материнской груди, лишь изредка соглашаясь на соску с бутылкой, да и то так, попить водички.

Сейчас на кухонном столе перед Николаем стояли те же две трехлитровые банки, каждая из которых примерно на треть была заполнена белым порошком: одна – мукой, другая – сухим молоком.

Оставшись в одиночестве, он сам удивился тому, насколько неприхотлив. Привезя из деревни рюкзак с картошкой, яблоками и соленьями, Николай какое-то время совершенно не задумывался о том, что будет есть. По утрам, похрустев обтертым о штаны яблоком, он закидывал в кастрюлю мелкие кругляши картошки, которые время от времени таскал потом, проголодавшись, в течение дня по одному-два, даже не морочась подчас их очистить. Как правило, сопровождал эту процедуру соленый огурец, помидор или горстка квашеной капусты, съедаемые на ходу по пути к письменному столу. Когда недели через две в доме закончился чай, то, пошарив в шкафах, Николай нашел какие-то припрятанные Ленкой травы и, не слишком разбираясь, какие и от чего, заваривал их крутым кипятком. Сперва морщился – некоторые из них оказались горьковаты, – но вскоре привык и даже стал получать своеобразное удовольствие от необычного вяжущего вкуса.

И все это не имело в конечном счете никакого значения до того момента, когда однажды в рыхлое и гнилое ноябрьское утро, по привычке сунув руку в нижний ящик холодильника, он не нащупал там ни яблока, ни картофелины. Несколько минут проведя в ступоре, Николай догадался проинспектировать полки повыше. И с удивлением обнаружил, что в целлофановых пакетах, куда Ленка при укладке рюкзака, чтобы не было так тяжело, переложила ему из банок огурцы, помидоры и капусту, ничего нет. В дальнем углу совершенно пустого холодильника лишь сиротливо светилась какая-то консерва. Достав, безглаголиво поморщился: морская капуста, которую он с детства терпеть не мог. Зашвырнув ее обратно, Николай вылил остатки уже подкисшего рассола из каждого пакета себе прямо в рот, выбросил их в мусорное ведро и... отключил холодильник.

Опустившись на табуретку, он тупо уставился в пол. На сегодняшний день у него были совершенно иные планы, нежели добывать себе пропитание, – он как раз вчерне наметил вторую главу и собирался прописать предварительные выводы. Отвлекаться ему не хотелось. Недолго поразмыслив, он высыпал из коробочки в кипяток последние крохи желтоватого сладковатого порошка – кажется, это была ромашка – и в дурном расположении духа направился к письменному столу.

Но оказалось, что день был безнадежно испорчен. Вместо стройной логической цепочки, которая так удачно собралась у него в голове, пока он медленно и с наслаждением просыпался – и чего, дурак, сразу не записал? – мысль кружила вокруг так неожиданно кончившейся картошки, отсутствия денег и, главное, омерзительной необходимости выходить на улицу. От одного только осознания

того, что ему нужно будет одеться и покинуть квартиру, воротило с души.

Работа не клеилась, раздражение росло, промаявшись попусту за письменным столом часов пять, он понял, что, пока не устранит эту внезапно возникшую неприятность, к нему не вернется то спокойное и ровное расположение духа, которое уже месяц позволяло ему планомерно и методично выстукивать двумя пальцами на пишущей машинке четкие строчки диссертационного черновика.

Пришлось прекратить работу и снова двинуться на кухню.

Тщательный обыск кладовки, всех шкафчиков, ящичков и коробочек дал неутешительный результат: трав, как оказалось, больше не было, а на кухонном столе высились только две те самые трехлитровые банки, с которых, собственно, и начался его вынужденный холостяцкий быт. К этому моменту проклятый желудок уже выплясывал польку-бабочку, требуя немедленного заполнения хотя бы чем-нибудь съестным. И Николаю пришлось экспериментировать.

Первый опыт был неудачным: мутная жижа, в которую превратилась ложка муки и ложка сухого молока, разведенные водой, конечно же, пристала к сковородке – никакого масла в доме не было. Он в ярости соскребал сырые, грязно-белые лохмотья лопаткой и, от омерзения даже не прожевывая, глотал. Покончив с этой идиотской процедурой, плюхнул сковородку в мойку отмокать и пошел в отцовскую комнату. Но вид разложенных бумаг почему-то тоже вызвал отвращение, и, послонявшись по квартире в гнилых ноябрьских сумерках, он остановился перед телевизором.

Со времени отъезда жены и дочери Николай просто позабыл о его существовании и сейчас с любопытством смотрел в медленно разгорающийся экран. Когда изображение задержалось и поплыло черно-белыми мелкими квадратиками, да так, что у него даже резануло глаза, он подумал, что Анютка-таки перед отъездом успела до него добраться и что-то там покрутить. Но нет, в следующую секунду квадратики вспучились пузырем, треснули, и в образовавшуюся щель пролезла какая-то дьявольская рожа, принакрытая плохо покрашенным блондинистым чубом. Иезуитски ухмыльнувшись, рожа шулерски предъявила в экран две свои ладони. Из них вылетели какие-то шарики с буквами, сложившимися в слова, которые Николай так и не успел прочесть.

Затем в кадре нарисовалась худая томная красотка в желтом костюме, сидящая, скромно склеив коленки, на огромном красном диване и через каждое слово, которое щебетали ее пунцовые губки, нарочито вставлявшая «а... ээ...». Николай долго вслушивался в белиберду, которую она несла, не сразу догадавшись, что ему предложено смеяться. Пока он соображал, что веселого в вопросах «Случалось ли так, что вам не удавалось спрятать под полый плаща свое помповое ружье?» и «Заклинивало ли у кого-нибудь патрон в стволе М-16?», в кадр влетел еще один плохо покрашенный блондин и, мотая во все стороны, словно спаниель ушами, не слишком хорошо промытыми и расчесанными длинными лохмами, диким голосом стал что-то орать. Синий пиджак на золотых пуговицах, явно размера на два превышавший размах плеч дикаря, едва поспевал за безумными телодвижениями, которые совершал его хозяин. Блондин, какое-то время поорав и покривлявшись, неожиданно достал из-за спины автомат Калашникова и начал из него палить прямо в студию. Вместо ожидаемого вопля ужаса раздался дружный смех зрителей. И опять, пока Николай соображал, над чем же он тут должен посмеяться, девица в желтом костюме вдруг выхватила у дикаря автомат, как-то неприлично зажала его у себя между ног и стала издавать томные вздохи и охи, а буйный дикарь в синем пиджаке размахивал штык-ножом. Смех теперь звучал почти непрерывно, и Николай даже пожалел, что природа наделила его слишком тяжелым для этих шуток умом – судя по всему, людям, сидящим в студии, было искренне весело. Девица же внезапно бурно-бурно задышала, отчаянно-оргазмически закричала «да-да-да!» и, бросив автомат, завалилась за диван. Тут дикарь, свирепо вращая глазами и надсадно завывая, что, видимо, должно было показать, как он постепенно распаляется, последовательно сорвал с себя сперва синий пиджак, затем брючный ремень, белую рубашку, обнажив при этом волосатый торс с эффектными рельефными мышцами, и рыбой нырнул вслед за девицей. После этого изображение снова зарябило черно-белым оп-артом, и стрела со страшным звуком вонзилась в «яблочко», расположенное в центре откуда-то взявшейся рулетки.

Николай нажал на кнопку, экран мигнул и так же неохотно, как включался, померк. Настроение было испорчено окончательно.

Он поплелся в комнату отца, с размаху плюхнулся на диван и нашарил на книжной полке над головой очередной пухлый том Толстого...

Однако уже на следующий день задача с поиском пропитания была решена. Оказалось, что сковородку просто нужно раскалить докрасна, и тогда мутная

молочно-мучная взвесь образовывала по всей своей окружности ровную сухую лепешку, которая, присоленная, вполне годилась в пищу. Душевное равновесие было восстановлено, и Николай с азартом продолжил работу.

Теперь по утрам он готовил себе еду сразу на весь день, добросовестно растирая столовую ложку муки и сухого молока с водой в единую вязкую субстанцию. Своеобразный хлебный блин такого же омерзительного вкуса, каким было американское сухое «гуманитарное» молоко, вскоре стал привычен, и Николай теперь был озабочен только тем, чтобы этой адской смеси ему хватило как на можно более долгое время. Тут он как раз очень кстати вспомнил о тоскующей в выключенном холодильнике одинокой банке морской капусты.

Дождавшись, когда лепешка остынет, Николай аккуратно разрезал ее на четыре части, три из которых оставлял на тарелке, накрыв целлофановым пакетом, а на четвертинку в три-четыре дорожки стелил волоски морской капусты. Теперь он не только смирился с ее «склизким» вкусом, но и даже пожалел, когда она, в результате такого экономного использования, через две недели все же закончилась. Чтобы «не оскотиниться», он честно брал из буфета тарелку, перекладывал в нее этот своеобразный бутерброд, кипятил чайник и заливал бурлящую воду до краев в свою любимую кружку. Со всем этим хозяйством – вот тут бы Ленка точно начала орать, что он решил завести с таким трудом выжитых ею из квартиры тараканов! – шествовал к отцовскому письменному столу, мгновенно с головой уходя в работу. Так, во-первых, проще было не замечать, что ты ешь, а во-вторых, сколько. Поэтому, «вынырнув» из своего увлекательного занятия, он частенько обнаруживал, что его «завтрак» не только давно съеден, но и вполне пора «обедать». И тогда, прихватив кружку и тарелку, он не торопясь следовал в обратном направлении на кухню, отделял от блина еще одну четвертинку, снова стелил четыре-пять зеленых «волосков» и опять кипятил чайник.

От полного одиночества, сосредоточенности и отсутствия возможности, а главное – желания куда-либо выходить его занятие становилось все интереснее и интереснее. Он стал нащупывать в том самом выставленном из «кандидатской» куске новые перспективы и возможности и так этим увлекся, что в иные дни стал свой бутерброд обнаруживать недоеденным, а кипяток в кружке – безнадежно остывшим. Тогда он решил делить блин на две части и уносить с собой в комнату сразу половинку: и правда, зачем было тратить драгоценное время на повторение всей операции четыре раза в день, если в голове стройным рядом чертились формулы, извлекались корни, брались

логарифмы, вычислялись интегралы и во всем стремительном хороводе мыслей ему зачастую совершенно не было важно, жует он что-нибудь при этом или нет?..

То, что уже завтра ему будет совсем нечего есть, Николай обнаружил утром. Может быть, поэтому обошелся кружкой кипятка, ибо сама мысль о том, что надо будет где-то раздобывать денег и стоять потом в какой-нибудь очереди, для чего, естественно, ему придется выходить из дому в эту омерзительную серость, снова вызвала у него острый приступ тоски. Не привыкший лгать себе, он давно осознал, что, работая «запоем», тем самым попросту отгораживается от неприятно будоражащих его душу раздумий. Он, взрослый, неглупый, достаточно сильный человек с высшим и не самым «простым» образованием, пользующийся телефоном, имеющий в доме ванну и горячую воду, живущий в XX веке в собственной стране, по улицам которой не ездят танки и не носятся очумелые мужики с автоматами, а с неба на голову не сыплются бомбы, тем не менее почему-то голодает. И коль скоро эта тщательно отгоняемая мысль все же упорно время от времени его настигала, он покорно в который раз проходил в мозгу всю сложившуюся в последние годы в стране цепочку событий, в конце которой неизменно упирался в нечто мягкое, темное, податливое и в то же время совершенно не прощупываемое и не просматриваемое. Научный его ум, не привыкший пасовать перед загадками природы, атаковал это «нечто» то с одной, то с другой стороны. Однако всякий раз, казалось бы, верно выстраиваемая им логика неизменно обрывалась в одном и том же месте: между почившим в бозе СССР и новорожденной Россией находился какой-то искусственный темный провал, через который совершенно невозможно было перебросить никакой мысленный мостик. Станным образом более всего Николай уставал не от своего научного «мозгового штурма», который, как теперь предчувствовалось, мог привести его к открытию чуть ли не мирового значения, а именно от этих вот куда менее сложных и в то же время совершенно тупиковых размышлений. Они так серьезно раздражали его своей неразрешимостью, что порождали острое чувство униженной беспомощности, и это, в свою очередь, парализовало мозг и мешало работать. А посему, шлепнув на тарелку очередную порцию лепешки, он предпочитал как можно скорее вернуться к интегралам и логарифмам, которые пусть и несколько капризная, но все же подчинялись его демиургической власти, в конечном итоге выстраивая на бумаге очертания совершенно новой, доселе никому не известной физической реальности.

Но сегодняшним утром от этой мысли ему уже некуда было деваться: как бы ни был он неприхотлив, но, растерев последнюю столовую ложку муки с сухим молоком, он был обречен с завтрашнего дня начать окончательно голодать или шевелиться в поисках пропитания.

Николай отставил банки, плеснул в кружку кипятку и привычно направился в отцовскую комнату, Ленкиными усилиями теперь превращенную в полноценный его кабинет, заходить в который Анютке можно было только с личного разрешения папы. Сюда, в компанию с отцовским письменным столом, в первый же день генеральной уборки был перемещен старинный дубовый книжный шкаф, который, впрочем, так и не смог вместить в себя весь накопленный Николаем к докторской интеллектуальный хлам. Пришлось собрать со всей квартиры невесть откуда взявшиеся в ней разномастные полки и выстроить из них еще одно подобие шкафа. Но и им было не под силу «заглотить» все научные труды, журналы и тетради с выписками. И потому, при всем уважении к ним, они стопками высились, пылясь, на подоконнике, придиванном столике, на одном из стульев и даже на полу. Другое дело, что разбором и систематизацией этих завалов Николай занялся буквально в первый же день после того, как отвез своих к деду, и потратил на это неделю. Каталога он, конечно, не составил, но зато стал хотя бы примерно ориентироваться, где можно найти то, что ему в данный момент необходимо.

Отхлебнув кипятку, Николай попытался углубиться в работу. Подтянув к себе нужные сейчас книги, он внимательно осмотрел торчащие из них разноцветные бумажки, нашел необходимые закладки и уже было раскрыл, собираясь сделать выписки... Но мысль о том, что надо будет что-то есть, упрямо сидела в голове, проступала сквозь цифры, сбивала логические построения. Удивительным образом все это время он ел, не испытывая особенного голода, ел просто для того, чтобы есть, чтобы ничто не отвлекало от работы. Но именно сегодня при мысли о последней столовой ложке бурды у него вдруг остро засосало под ложечкой. Захотелось кофе – он прямо почувствовал этот дразнящий запах! И к нему бутерброд со сливочным маслом и вишневым, например, джемом. Усилием воли он попытался отогнать от себя эти фантазии, но перед глазами упорно возникала тарелка ароматного борща, который Ленка варила с особым мастерством и вкусом.

Он хлебнул еще кипятку и только тут понял, как ему осточертела простая горячая вода. В раздражении сломав только что тщательно отточенный карандаш, он захлопнул книгу... И снова открыл ее, решив, что работать сегодня

он будет все равно, а лепешку сделает к вечеру.

Но вечер не замедлил: так как солнце в эту осень не считало нужным показывать себя даже на минуту, то мутное, бессильное, неумытое утро сразу же перетекало, не тормозя, в не менее хмурый, бомжеватый закат.

В слепом кухонном свете он не торопясь ссыпал в миску все содержимое двух банок, подлил воды из чайника и начал растирать ложкой неприятно пахнущую жижу. Мысль в такт движению тоже ходила по кругу: даже если пешком – а это часа полтора ходу! – и добраться до института, войти к шефу и прямо спросить, не хочет ли тот выплатить ему хоть что-то из задерживаемой полгода зарплаты, и даже постучать кулаком по столу – эффект будет нулевой. К тому же прогулка не доставит ему удовольствия: чувство невыносимой униженности, которое он успешно подавлял в себе работой, не выходя из дома, там, на улице, где откуда-то берутся люди, у которых есть деньги и поэтому они что-то покупают в магазинах, обострится до невыносимости, вышибет из колеи окончательно. И он сразу же начнет тосковать – и по Ленкиной улыбке, и по дочкиным взвизгам, и даже по борщу... Одолжить тоже уже было не у кого, да и как, чем отдавать?

Чувство голода, мешающееся с ощущением безвыходности, штормило эмоции. Ложка заходила быстрее, яростно втирая «болтанку» в стенки миски. Швырнул ложку в мойку, чиркнул спичкой, да так, что она сломалась, потом второй, третьей, поднес к конфорке, почему-то обжегшись, чертыхнулся, шмякнул с размаху пустую сковороду на огонь и вдруг понял, что его охватывает бешенство. Движение было привычным, отработанным до автоматизма – так по утрам наспех перед работой он обычно жарил себе яичницу с колбасой, – кухня была знакомой, город за окнами был свой, родной до каждого закоулочка, а вот жизнь в нем... жизнь теперь была какой-то чужой.

Когда он последний раз ел колбасу? Да, и в самом деле – в тот последний день, с которого и начался отсчет его добровольного домашнего затворничества. Отвезя Ленку с Анькой и вернувшись в Москву, он на оставшиеся от поездки деньги на следующее утро добрался до института, чтобы забрать кое-что нужное из своего письменного стола. По привычке обогнав в холле гордо несущую свои туго обтянутые узкой юбкой пышные бока Виолетту Степановну и коротко поздоровавшись с ней, он направился было к лифту, но сразу понял, что тот не работает – не было перед ним привычной толкотни.

– Ну что ж, Николай! – пробасила неспешно догнавшая его Виолетта Степановна. – Иван и Максим Викторович не показываются вторую неделю, вас не было три дня... Теперь, судя по всему, и пришел он – тот день, когда сам Господь Бог показывает нам, что с нашей научной деятельностью можно покончить раз и навсегда – пешком на седьмой лично я уже не дойду. Так сказать, естественный отбор... Через день-другой даже вам с вашим упрямством надоест отмахивать ступени до седьмого неба, и наш кабинет можно будет сдать под какой-нибудь мини-маникюрный салон. Тогда и лифт сразу заработает.

Она невесело и неожиданно для ее низкого голоса тоненько хихикнула.

– Ну что ж, Николай! До встречи в следующей жизни?

И, не дожидаясь ответа, так же неторопливо, как и шла сюда, понесла свои царственные бока обратно к выходу, раскапывая в кармане коробку с папиросами.

А Николай свернул за угол, толкнул дверь на лестницу и стал подниматься. Торопиться ему было некуда, а кое-какие выписки, сделанные летом в сыром подвале в архиве и теперь лежавшие в его столе, ему все жегодились бы.

Единым духом поднявшись на третий, он остановился передохнуть, и тут дверь распахнулась – из холла на лестничную площадку вылетел шеф. Секундное замешательство, рукопожатие, Николай уже хотел повернуть на следующий лестничный пролет, когда шеф вдруг схватил его за рукав.

– Коленька! – такое ласковое обращение не сулило для Николая ничего хорошего.

Тем не менее он остановился.

– Коленька! – повторил шеф, придвигаясь, как всегда, излишне близко и начав по вековой привычке нервно обирать невидимые пылинки с рукава собеседника. – Ты мне как раз и нужен, я собрался тебе звонить, а ты тут и сам явился. И знаешь, так кстати, так кстати...

Николай молча ждал: единственное, чего он еще мог хотеть от этого невысокого лысоватого человека, которого давно перестал уважать, – это полагавшихся ему и за шесть месяцев задержки давно превратившихся в «пух» денег. Но разговор явно затевался не о них.

– Понимаешь, Коленька, – снова залопотал шеф. – У нас к тебе есть разговор...

– У кого у вас? – Николай насторожился.

– А у нас сегодня гости, ты не знал? А, ну да. Ну да, откуда же... Я же тебе не звонил... Только собирался... Ну, раз уж ты сегодня вдруг пришел – может, оно и к лучшему... к лучшему...

Шеф мягко взял Николая под локоть и стал вместе с ним поворачивать к ведущей наверх лестнице.

– Да, гости... и какие... а так неудобно получилось – лифт сломался... Но они – ничего... они у себя там по утрам все поголовно бегают, так что им на четвертый подняться было нетрудно... К тому же даже и хорошо: пусть видят, какие сложности испытывает советская наука! – неожиданной фистулой в гулком эхе лестничной клетки запальчиво закончил свою речь шеф.

– Я зачем вашим гостям?

– А пойдем... пойдем... они тебе сами все расскажут!

Николай «профессорский» этаж не любил и старался на нем не появляться. Его и раньше раздражали и «шикарные» псевдодеревянные панели из ДСП, которыми с претензией на роскошь были обшиты стены, и фикусы с мясистыми, лоснящимися толстыми листьями в кадках возле престижных «велюровых» разлапистых диванов и кресел, и зашарканный паркет под ногами вместо привычной выщербленной плитки «под мрамор» остальных этажей, а сейчас он и вовсе испытал приступ стыда, смешанного с брезгливостью. ДСП покрылись каким-то пыльно-масляным тусклым налетом, фикусы опустили отощавшие пожелтевшие листья, диваны потускнели, «просиделись», а кое-где сквозь потертости просвечивал поролон. Он был даже рад тому, как быстро шеф катился по коридору на своих коротеньких ножках, не давая возможности разглядеть более мелкие признаки какого-то тотального разложения,

охватившего институт несколько лет назад и сейчас представленного Николаю во всем своем гнилом великолепии.

Идя чуть не «на рысях», они на большой скорости проскочили кабинет шефа и, свернув за угол, толкнули две тяжелые деревянные створки такого же когда-то «шикарного» ДСП с золотыми круглыми блямбами вместо ручек.

Большой актовый зал был пуст, ряды кресел не освещены, лампы горели только над так называемым президиумом, где стояли такие же, с претензией на роскошь, ДСП-панели, непрочно скрепленные в громоздкие и уродливые столы. На них, когда шеф с Николаем приблизились, стали видны рюмки из кабинетного бара шефа, бутылка «Столичной», на оберточной серой бумаге толстыми кругами порубленная сизая докторская колбаса и батон. Поодаль, возле трибуны, в кресле сидел незнакомый, ухоженный и представительный седой мужчина, второй помоложе, но тоже в очень хорошем, в тоненькую полосочку костюме-тройке, прохаживался вдоль столов, с любопытством поглядывая на таким странным образом разложенное «угощение». На противоположном конце, словно два взъерошенных воробья на ветке, примостившись на краешках стульев и напряженно глядя перед собой, сидели зав. лабораториями Петр Семенович и Андрей Ильич – его тяжелые очки с толстенными стеклами все время сползали к кончику носа, и он их нервно подпихивал указательным пальцем обратно к переносице. Стояла напряженная тишина, пахло колбасным духом и прелыми шторами.

– А это наша надежда – Семенецкий, я вам про него говорил! – радостно заулыбался шеф, настойчиво подталкивая Николая в спину поближе к высокому прохаживающемуся мужчине, которому пришлось протянуть руку, чтобы поздороваться. – Думал, представлю вам его через денек-другой, а он сам сегодня объявился.

– Семенецкий? – с отчетливым английским акцентом переспросил «костюм в полосочку». – А как имя?

– Николай.

Пожав холеную, холодную, какую-то безучастную руку, Николай замялся, потому что «костюм в полосочку» тут же повернулся к нему спиной и направился к седому господину в кресле, с которым заговорил по-английски: Николай

отчетливо разобрал перечисление всех своих регалий, тему кандидатской и что-то еще, произнесенное пониженным тоном, да так, что слов было уже не разобрать.

– Ну! Чем богаты, тем и рады! – вдруг пошло засуетился шеф, откупоривая «Столичную» и разливая ее по рюмкам. – У нас, знаете ли, все по-простому... к тому же советская наука нынче не финансируется... сами видите... как у нас тут теперь все... Давайте за знакомство?

Петр Семенович и Андрей Ильич как по команде встали, мелкой рысцой преодолели расстояние вдоль столов до рюмок, с готовностью схватили их и отставили локти – видимо, для приличия. «Костюм в полосочку» вопросительно оглянулся, седой джентльмен не пошевелился, лишь приподнял ладонь, показывая, что он пить не будет, а шеф, вдруг шмякнув рюмку на стол, завопил:

– Да! Да! Вода! Как же я забыл! – обежал трибуну, на которой стоял графин с водой и стаканами, услужливо налил и преподнес «костюму», который в благодарность неожиданно обаятельно и лучезарно улыбнулся.

– Ну, поехали? За знакомство? – Шеф занес уже было руку, но приостановился, глядя, как «костюм в полосочку» мужественно опрокинул водку в рот и тут же стал запивать водой.

– Вы чего этот балаган-то тут устроили? – тихо спросил шефа Николай. – Тарелки-то в кабинете у вас есть! Чего перед иностранцами-то позориться?

– Ничего!

Шеф неожиданно острым, оценивающим взглядом скользнул по «седовласому», бодро хватанул из рюмки беленькой и, снова лучезарно разулыбавшись, тихо прошептал:

– Нехай знают, буржуинские морды, как живет теперь советская наука! Нехай раскошеляются!

Николай, ощущая на себе неприятный, какой-то цепкий, оценивающий взгляд «седовласого», выпил и понял, что с утра да на голодный желудок водка ему «не

пошла». Пришлось ляпнуть круг колбасы на батон, причем то ли оттого, что откусил слишком много, то ли оттого, что его так откровенно, почти не мигая, разглядывали, хлеб тоже «застрял» у Николая в глотке.

– Ну а теперь, Коленька, не сглупи и не продешеви! – тихим шепотом, не меняя любезного выражения лица, пробормотал сквозь зубы шеф. – Итак, господа, наверное, к делу.

Услышав это, Петр Семенович и Андрей Ильич дружно поставили пустые рюмки и отбежали обратно за свой конец стола, где снова уселись рядом, и каждый достал по блокноту.

Прожевав, шеф вдруг заговорил о том, что Николай – это надежда всего института и что это стало понятно еще тогда, когда защищалась его кандидатская диссертация. Далее, в кратеньких выражениях, была очерчена суть проводимых исследований с приведением – по памяти! – некоторых цифр, после чего улыбающийся шеф торжествующе провозгласил:

– Сегодня господин Семенецкий работает над докторской диссертацией. Причем основой ее стали уникальные разработки, которые логично вытекали из его предыдущих научных интересов.

Николай поперхнулся, замер: шеф точно шпарил по его «заветной общей», почти не запинаясь и не теряя логики. В голове завертелось: откуда? Тетрадь он каждый раз приносил из дому и забирал домой... То ли от выпитого, то ли от ужаса закружилась голова и стало слегка подташнивать.

Пока «костюм в полосочку», чуть наклонившись, тихо и терпеливо переводил по-прежнему остававшемуся неподвижным и немигающим взглядом буравящему Николая «седовласому», мысль Николая судорожно металась в поисках ответа на самый главный вопрос: «Кто? Кто это сделал? Кто донес?»

Первое, что он подумал было, – Ленка. Ленка, Ленка, солнце мое ясное, улыбка ты моя рассветная, что же ты натворила... Николай почувствовал удушье... Ленка, радость моя, как же теперь жить-то с тобой?

Хватанув ртом затхлого зального духу, Николай опомнился: да нет, ну что же это он... Ленка – нет... Ленка не могла... Словно во сне, где все странным образом

замедленно, он наблюдал, как дружные Петр Семенович и Андрей Ильич хором что-то пересказывают, демонстрируя написанное в их блокнотах, как, едва-едва пошевелившись, «седовласый» склонил голову, чтобы посмотреть записи, и понял, что под него, Николая, уже сделаны предварительные расчеты...

И вдруг в мозгу словно вспыхнул свет: Виолетта! Конечно же, Виолетта! Кто бы еще мог! Последние месяцы «подсаженные» к ним мэнээсы почти не появлялись на работе, и у них просто не было возможности что-либо скопировать. Да и... компетенции бы не хватило...

– Сука! – громко выругался Николай, круто развернулся и вдоль показавшихся вдруг бесконечными рядов направился к выходу. Его мучительно тошнило, и, распахивая тяжеленные двустворчатые двери, он порезался о латунный край (на качестве обработки краев строители, как всегда, сэкономили) одной из ручек-блинов, судорожно соображая, где на этом этаже туалет.

Когда он очнулся, дверь в кабинку была распахнута, и в проеме, как норовистая пони, приплясывал шеф.

– Ну, ты че, Коленька?.. Ты че? – по-свойски захлопотал вокруг него шеф. – С одной-то рюмашки! Ты чо?.. Голодный, что ли?.. Давай я тебе денежку дам хоть сколько-нибудь... пожрать, что ли, купи... Ну нельзя же так... я ж не знал...

Шеф вытряхнул из кармана огромный белоснежный с голубой каемочкой носовой платок и протянул Николаю:

– Ну, ты умойся, умойся... Утрись... И пойдем, пойдем уже, ждут...

Страдая от омерзения к самому себе, Николай открыл кран, однако платок из рук шефа не взял. В помутневшем, порыжевшем зеркале ему были видны встревоженные округленные шефовы зенки, трубочкой вытягивающиеся пухленькие розовенькие губки, в очерченный рамой зеркальный «кадр» время от времени влетала пухлая ручка с расправленным носовым платком, отчего шеф неожиданно стал похож на приплясывающую девицу, только что кокошника не хватало. И Николай, не сдержавшись, усмехнулся.

– Че ты ржешь? Че ты ржешь? – возмущенно заклекотал шеф. – Пойдем. Ждут же нас, неудобно!

– Что неудобно? – В груди Николая стало медленно наливаться что-то тяжелое, мешавшее свободно дышать. – Перед кем неудобно?

– Ну, ждут же...

– А колбасу на бумагу вываливать было удобно? – Николаю самому не нравилось то, что разрасталось внутри и уже начало распирает грудь. Но он не мог это остановить.

– Так я ж специально... Коленька! Пусть видят, до чего нас «совок» довел... Тебя довел, надежду советской физики... Пусть раскошеляются, если хотят тебя получить...

– Если кто меня до чего и довел... – Николай захлебнулся и сам не заметил, как перешел на «ты», но тормоза уже не работали, а, напротив, нечто, что росло в груди, стало наливать его тело, руки, голову какой-то немереной силой. – А теперь, значит, ты, б...ть старая, мной поторговать решил?

– Коленька... Коленька... не кипятись, Коленька... Я ж о тебе думаю... Двести баксов в месяц сегодня на дороге не валяются... Тебе Аньку растить надо... И потом, перспективы...

– Какие перспективы? – Сила эта уже душила Николая, искала выхода, он едва сдерживал ее. – Какие перспективы?!

– Они пообещали, что если первые эксперименты расчеты подтвердят, то мы... ну в смысле ты... там, понимаешь, там получишь лабораторию...

– А ты, значит, с этими двумя мочалками ко мне на хвост в виде соавторов? – Тут в голове у Николая что-то сверкнуло и взорвалось... рука сработала сама собой, он даже не успел ее придержать...

Шеф коротко ойкнул и исчез из поля зрения, а дорога на выход из туалета была свободна.

Николай дошел до двери на лестницу, распахнул ее как-то легко, не останавливаясь, и, странным образом почти не запыхавшись, пролетев три

этажа вверх, толкнул дверь в свой кабинет.

Помещение зияло пустотой: видимо, ни у кого из мэнээсов сегодня не оказалось денег, чтобы добраться до работы. Одним движением смахнув со стола Виолетты все, что там лежало, Николай развернулся к своему, нагнулся, достал из-за стула старенький пластиковый «дипломат», выдвинул ящики, выгреб все бумаги, которые там нашел, и с трудом защелкнул замки.

Его по-прежнему мутило. Но теперь от ярости. Прикинув, что в транспорте битком набитый «дипломат» может расстегнуться, он снова метнулся к столу Виолетты, вырывая и выворачивая на пол один за другим заедающие в пазах деревянные ящики в поиске какой-нибудь веревки. В последнем неожиданно нашлась пара женских чулок, и он не стал разбираться – новые они или ношенные, а просто скрутил их жгутом, связал узлом и туго перетянул «дипломат».

Собственно, все.

Поднял перевернутый стул, сел на него («На дорожку!» – мелькнуло в голове) и внезапно успокоился. Трезво и холодно окинув взглядом кабинет, он мысленно перебрал, что тут еще могло оставаться лично его, но ничего не вспомнил. Посидев еще несколько секунд, встал и, уже совершенно поймав душевное равновесие, размеренно зашагал по коридору к лестнице, попутно отметив про себя, какая мертвенная тишина стоит в обычно шумном во всех коридорах институте...

Блин, конечно, пригорел. Когда Николай очнулся, над сковородой вился серо-сизый дымок. Пахло так, словно подожгли автомобильную шину.

– Черт-те чем нас эти америкашки кормят! – выругался Николай, переворачивая обугленный завтрако-обедо-ужин в помойное ведро прямо со сковороды. – И как дети это молоко пьют?

Воды в чайнике тоже уже было на самом донышке, поэтому он с досадой выключил газ, швырнул немытую сковороду в раковину, на ходу ляпнул рукой по выключателю и в сгущающейся мгле прошлепал в свою комнату к окну.

Свет за окном был нереальный. Под толстым-толстым, непробиваемым слоем низких, какого-то трупного цвета туч у самого горизонта небо словно неровно треснуло, и в образовавшуюся щель было видно, как заходит бледное, чахлое, омерзительно-лимонно-желтое, холодное дневное светило. В его неверном отблеске город принял вид какого-то космического безжизненного пейзажа, схожего с теми, что показывали в новомодных фантастических фильмах – тех самых, что из закрытых видеосалонов неуклонно-беспардонно переключивали на экран телевизора. Смотреть на это бесснежное (а ведь было уже начало ноября!) безмолвие не было никаких сил – тоска и без того уже защемила душу. Николай отшатнулся от окна.

– Черт... В этой стране все совсем безнадежно испохабилось... Даже погода!

Он обернулся к письменному столу, чтобы зажечь настольную лампу.

Бздзынь!

Стекла от разорвавшейся лампочки брызнули в разные стороны, мелким крошечком посыпав книги, тетрадь, разложенные на столе карточки, и, скользя по спортивным штанам, в которых он бессменно провел целый месяц, ссы?пались в тапки.

– Черт!

Николай аккуратно «вышел» из тапок и теперь уже почти в полной темноте – охладевшее, съжившееся солнце успело закатиться! – добрался до выключателя верхнего света.

Но верхнего света тоже не было.

Почему он никогда не запоминал, что и где лежит у Ленки, когда она показывала? Гадай теперь, куда она могла засунуть эти гребаные свечи.

На ощупь пошарив по полкам кладовки, перечертыхав весь сервант, Николай, как был босиком, поплелся в кухню. Толстые, сырые, липкие свечи, как оказалось, лежали на самой нижней полке одного из шкафов, и он, с трудом отклеив одну от других, чиркнул спичкой. Крохотный неуверенный огонек

вскоре пополз по плохо скрученному свечному фитилю и, набрав силу, внезапно короткой вспышкой ослепил Николая, держащего в руках постепенно разогревавшийся, горячими каплями плачущий стеарин, который наконец заплескал во все стороны желтовато-красновато-синим лоскутком.

Николай догадался прикрыть пламя рукой – правда, с непривычки, конечно же, не с той стороны, и поэтому поплелся в прихожую, ничего не видя. Пару раз безуспешно вывернув и ввернув пробки, он понял, что «выбило», видимо, на лестничной клетке. Тапки, полные стекла, остались в комнате. Пришлось на шаривать ботинки.

Входная дверь открывалась в душную стиснутую темень «предбанника» на три квартиры, а общая – в такую же безнадежную темень, которая стояла в квартире. Только она была больше и отдавала гулом пустого огромного лестнично-этажного пространства.

Где-то глубоко внизу кто-то придушенно матерился – видимо застрял в лифте.

Приподняв свечу над головой, Николай дотянулся до общего щитка и стал было разбираться, где же тут пробки его квартиры, когда услышал за своей спиной чье-то учащенное дыхание и вздрогнул от неожиданности: как к нему подкрался человек, а он не слышал?

Резко обернувшись, в колеблющемся свете свечи он увидел сперва угрожающе-взвиту над крутым бледным лбом тугую кипу черных пружин, огромный даже для этого крупного лица нос и, наконец, неестественно блестящие два черных глаза, в упор смотревшие на него.

– Тамара Викторовна! Напугали!

– Простите, Коля! – Тамара Викторовна в накинутом поверх спортивного костюма банном халате, расцвеченном крупными розами, от смущения переступила своими большими ногами в нежно-поросычьего цвета пуховых тапочках. – Вы были так увлечены... И к тому же темно...

С соседкой у Николая были, в общем-то, вполне дружелюбные отношения. Она занимала в их «блоке» оставшиеся две квартиры, соединенные в одну специально пробитой внутри дверью. Такая привилегия ей полагалась потому,

что она являлась профессором педагогики и приемной матерью сразу восьми разновозрастных оболтусов, старшему из которых уже явно было под двадцать, а младшо?й еще ходил на горшок. Долгое время с того момента, как эта странная компания появилась в их доме, соседи с наслаждением чесали языки, недоумевая, каким образом этой высокой, сутулой, с нескладной фигурой, с какими-то непомерно крупными и длинными руками и ногами женщине, одной, без мужа (который и был ли когда-нибудь – этого никто не знал!), надавали на попечение столько сирот. Естественно, предметом особого раздражения являлось и то, что эта странная «семья» занимала сразу две квартиры.

Через некоторое время подъездные кумушки от «глубокого недоумения» перешли к «хроническому умилению», начав бесконечно ставить «сироток» в пример своим ро?дным сыновьям и внукам, тем самым доводя их до исступления. Да и как было не умиляться, когда эта своеобразная разномастная компания демонстрировала образцы высочайшей культуры поведения, слаженности отношений и предельного почтения к окружающим.

Например, в какой-нибудь выходной день, когда во дворе играли дети и лавочки, как всегда, были плотно укомплектованы изнывающими от скуки мамочками и бабушками, из подъезда вдруг появлялся самый старший – чаще всего в пиджаке и при галстукe. Почтительно склонив хорошо причесанную, с идеальным пробором голову, он желал соседкам доброго дня и неспешно, ловко раскладывал вынесенную из дома сидячую прогулочную коляску. Затем опирался на ее ручку и замирал как изваяние, мечтательно глядя куда-то вдаль. В этот момент все девочки старше двенадцати лет, оказывавшиеся во дворе, тихо млели в сладкой истоме, уже представляя себя рядом с этим костюмом в ослепительном подвенечном платье. А у кумушек спирало от зависти дыхание: их сыновья и внуки, вечно вострепанные, с фингалами под глазами, с портфелями без ручек и оторванными карманами школьных пиджаков, выкрикивающие какую-то сумятицу, конечно же, не шли ни в какое сравнение с этим благовоспитанным и статным юношей.

Затем из подъезда показывалась большая дебилая девица лет пятнадцати с удивительно красивыми черными глазами и ослепительной бело-молочной кожей округлого, как полная луна, лица. У нее на руках чистенький, опрятненький, тихий и при галстучке, крутил головой светловолосый, голубоглазый и, невзирая на свой юный возраст, удивительно вежливый – никогда не забывал прошепелявить «ждраштвуйте»! – мальчонка, которого она очень бережно, какими-то почти танцевальными, неспешными, округлыми

движениями осторожно сгружала в коляску, где он замирал, не крича, не суча ногами, не требуя игрушки или «на ручки».

Вслед за ними бодрым шагом – и тоже при галстукe! – показывался ребенок явно кавказской национальности лет двенадцати, который бережно тащил виолончельный футляр чуть ли не больше его самого и, как и старшие родственники, почтительно поздоровавшись с соседками, замирал в ожидании. После являлась опрятно одетая, с двумя старомодными косичками на голове, некрасивая девочка лет десяти, которая несла большую хозяйственную сумку. И наконец, нарисовывалась сама Тамара Викторовна: большая, величественная и одновременно какая-то зажатая, неловкая, сутулая. Еще больше сгибаясь, чтобы взяться за ручки коляски, она все тем же кротким тихим голосом желала всем присутствующим приятного дня и тихо (а никто никогда и не помнил, чтобы Тамара Викторовна повысила голос!), но очень твердо и категорично спрашивала, все ли дети поздоровались с соседками?

Оторопевшие от такого зрелища и разомлевшие кумушки согласно кивали, забывая, что последняя девочка здороваться не стала, ибо, видимо, редко выбиралась из какого-то ей одной ведомого внутреннего мира, в который она и смотрела внимательным, слепым для мира внешнего, чуть косящим взглядом.

– Мамочка, я сам повезу! – аккуратно вытесняя Тамару Викторовну, говорил внезапно оживший старший мальчик, и она царственно уступала ему эту миссию, оглядываясь в поисках своей сумки, которую тут же ей подавал мальчик с виолончельным футляром.

– Спасибо, мой дорогой! – едва слышно говорила Тамара Викторовна. – Тебе, наверное, уже пора на урок? Вениамин Михайлович тебя ждет.

– Да, мамочка! – склонив голову с идеальным пробором, как у старшего брата, отвечал мальчик. – Позвольте, я пойду.

После этого Тамара Викторовна подавала ему руку, он, придерживая футляр, церемонно и по-старинному прикладывался к ней с поцелуем и, с достоинством всем кивнув, неспешной походкой удалялся.

– Ирочка, ну что же ты будешь носиться с этой чудовищной сумкой? – ровно и кротко спрашивала Тамара Викторовна.

И, к удивлению, Ирочка ее не только слышала, но и мгновенно выныривала из своих неспешно текущих грез и послушно укладывала хозяйственную сумку на нижнюю полку коляски:

– Да, мамочка, конечно, ты права. В магазине развернем.

– Все ли готовы? – спрашивал старший.

– Все, – отвечала дебелая девица, протягивая младшо?му бутылочку с водой или игрушку. – Мы можем идти, да, мамочка?

– Да, думаю, да, – резюмировала Тамара Викторовна, и только после этого семья с достоинством трогалась с места.

Остальные, не описанные в данной сцене дети, тоже были аккуратными, послушными, и в целом оставалось только догадываться, каким же эта безвозрастная, нескладная, удивительно некрасивая женщина обладала особым педагогическим даром, при помощи которого превращала приютских тигрят в хорошо вышколенных породистых котят.

Впрочем, как непосредственный сосед, Николай такими картинками не обманывался: в любой семье в шкафах обязательно припрятаны «скелеты». Будучи предельно воспитанным и шелковым при матери, в ее отсутствие весь этот «паноптикум» неумолимо превращался в «зверинец». А именно в нормальных современных детей – орущих, топающих, дерущихся, плюющихся и даже не чуждых матерного слова. Невзирая на то что сама Тамара Викторовна была принципиальной противницей вообще каких-либо наказаний, нередко сквозь общую стенку доносился звук хороших затрещин и чей-нибудь отчаянный плач: старший мальчик отнюдь не разделял гуманистических убеждений своей матери и с наслаждением отвешивал оплеухи своим меньшим братьям. Частенько изнутри квартиры во вторую, никогда не открывавшуюся входную дверь пыхтела, сопела, взвизгивала и билась, рискуя высадить петли и замок, ожесточеннейшая общая детская драка. А бывали ночи, когда Ленка будила Николая в тревоге оттого, что через стенку слышались чьи-то сиротливые отчаянные рыдания, которые никто не приходил утешить.

Но на людях семья была безупречна: все дети, помимо школьных рюкзаков и сумок со сменкой, таскали с собой футляры с разнообразными музыкальными инструментами, коньки и лыжи, ездили летом в «Артек», зимой по «Золотому кольцу» – словом все учились, все при деле, все на виду.

Новое время, мутной волной снесшее привычный обиход многих семей, словно не коснулось этой своеобразной компании, а, напротив, внесло в их жизнь (а заодно и в жизнь всего двора) некоторое разнообразие.

Примерно раз в месяц, изумляя кумушек и мальчишек, во дворе дома припарковывались диковинные иностранные машины. Из них неспешно, с каким-то незнакомым холодным достоинством являлись солидные мужчины и женщины в дорогих «дресс-кодах», лопочущие между собой то по-английски, то по-китайски, то по-немецки, то по-французски, а то и вовсе на каком-нибудь неведомом языке. Неизменно встречаемые у подъезда и сопровождаемые к лифту старшим мальчиком «при галстук», они гомонящей стайкой взмывали в квартиру Тамары Викторовны, а через некоторое время, вновь появившись во дворе и рассаживаясь по машинам, одобрительно качали друг другу головами, прищелкивали языками и сдержанно улыбались. В межквартирном тамбуре еще примерно неделю пахло как в парфюмерном магазине, Ленка каждый раз изумлялась стойкости запахов импортной парфюмерии, клялась спросить у своей подружки-химика Верки, каким образом они этого добиваются, и каждый раз забывала. Через несколько дней после таких визитов у подъезда тормозил очередной диковинный грузовик, и выскакивавшие из него дюжие мужики перекидывали на асфальт какую-то несметную тучу коробок, тюков и сумок, которыми старшие мальчики последовательно загромождали весь грузовой лифт, на все досужие вопросы тихо и вежливо отвечая, что это «гуманитарная помощь нашей семье». На фоне всеобщей голодухи и дефицита яркие упаковки консервов, круп, сладостей, специальные сумки, в которых привозилась одежда под звучным названием «секонд-хенд», и вправду вводили в почтительный ступор все население дома. И, пожалуй, слава этой семьи была так велика, что можно было считать ее особой достопримечательностью микрорайона.

Николаю, жившему в этом доме с детства, никогда не доводилось побывать в «апартаментах» Тамары Викторовны – да и общение между соседями в основном сводилось к вежливому «здравствуйте», не более того. Но однажды в выходной, вынося утром мусор (а Ленка принципиально не терпела, когда мусор выносили к вечеру, считая это дурной приметой) и заглянув по пути в почтовый ящик в ожидании очередного номера журнала экспериментальной и

теоретической физики, он обнаружил там помимо своих газет и извещение на имя соседки.

На обратном пути он позвонил в соседскую дверь. Через какое-то время на пороге показалась Ирочка.

– Здравствуйте, вы к кому? – до автоматизма отточенной фразой встретила она его.

– Ну, к маме, наверное, твоей!

Николай замялся: с мусорным ведром в руке перед этой вышколенной девочкой он вдруг почувствовал себя не слишком уверенно.

– Ты, может, извещение ей передашь, а то почтальон по ошибке к нам в ящик его кинул.

– Через порог нехорошо! – строго сказала Ирочка. – Пойдемте!

Она повернулась и, как заправская горничная, ловко лавируя между диваном, креслами и телевизором, стоящими в просторном холле, повела его куда-то в глубь квартиры, распахнула двери в одну из комнат и, войдя первой, тихо доложила:

– Мамочка! Там сосед дядя Коля принес какое-то извещение.

– Да, пусть войдет! – слышалось милостивое разрешение Тамары Викторовны, и Ирочка жестом пригласила Николая войти. Замявшись, куда бы пристроить мусорное ведро, он в конце концов оставил его на пороге и шагнул в комнату.

Семь пар глаз чинно сидевших за длинным обеденным столом членов семьи как по команде поднялись на него от изящных тарелок, на которых у всех одинаково лежало по столовой ложке овсяной каши и по кусочку белого хлеба с аккуратно размазанной желтой пленкой стоявшей на столе «Рамы». Блеск многочисленных столовых приборов, разложенных как для банкета, высоких стаканов с какой-то до краев налитой розоватой жидкостью удивил Николая. Возле сидевшей во главе стола Тамары Викторовны стоял так же ярко сиявший тостер, который в

установившейся тишине неожиданно громко «выстрелил» очередным куском поджаренного хлеба, отчего дети, церемонно-старательно державшие локти и спины, одновременно вздрогнули и у одного из мальчиков из-за ворота выпала идеально отглаженная белоснежная салфетка. Тамара Викторовна тотчас же ему на это молча указала, сделав «страшные глаза».

– Приятного аппетита, – ошеломленно пробормотал Николай, ощущая, насколько нелепо выглядит в своих домашних трениках и вытянутой майке на фоне с утра уже тщательно отутюженных рубашек мальчиков и оборок и рюшечек на платьях девочек.

– Николай, – своим обычным тусклым голосом проговорила Тамара Викторовна, аккуратно специальными щипчиками кладя кусочек поджаренного хлеба к себе в тарелку, – не присядете ли с нами позавтракать?

Николай замялся:

– Нет, спасибо, я уже завтракал! Я, собственно, на минутку... не предполагал... – Слова отчего-то застредали у него в горле. – Вот, Тамара Викторовна, почтальон ошибся, к нам в ящик бросил, а это ваше.

И он протянул ей извещение.

Тамара Викторовна неспешно подняла на него свои антрацитовые, чуть навывкате, глаза и... Николаю опять стало несколько неловко. Что-то было в ее взгляде такое, отчего у него мгновенно взмокла спина и горячая волна стала заливать шею и уши. Удивляясь сам себе, он поспешно положил извещение на краешек стола и повернулся было уходить.

– Ну хотя бы чаю с нами выпейте! По-соседски! Дети, приглашайте!

Это был совершенно запрещенный прием, поскольку отдрессированные воспитанники мгновенно засуетились. Старшая девочка поднялась и поставила на стол чистую кружку, средняя подала ему белоснежную салфетку, один из мальчиков вышел и вернулся с горячим чайником, еще один придвинул свободный стул.

Явно довольная произведенным на Николая эффектом, Тамара Викторовна все так же бесцветно, не повышая тона, руководила процессом:

– Валя, достань, пожалуйста, из серванта розетки и дай ложечки. Артем, вот тебе ключ от моей комнаты! Справа от двери на полке стоит банка с джемом, принеси, пожалуйста!

Из-за стола с почтительной покорностью поднялся самый старший мальчик.

Неожиданно в ровном и мерном голосе Тамары Викторовны зазвенели едва уловимые металлические нотки:

– И ради бога, больше ничего не трогай. Не как в прошлый раз, когда у меня пропала коробка пастилы и из-под кровати – две банки рыбных консервов.

Артем взял ключ и уже направился было к выходу из комнаты, когда один из младших, неожиданно и придушенно хихикнув, сообщил:

– Он потом этой рыбой своего Эдика угощал. А пастилой они коньяк «Наполеон» заедали... Его Эдик принес – я сам видел... А потом они зачем-то дверь на ключ закрыли... И мне больше ничего не было видно...

Артем на секунду застыл, метнул в говорящего испепеляющий взгляд и, едва удержавшись от гневной реплики, вышел.

– Данила! – ледяным тоном произнесла Тамара Викторовна. – Тебя никто не учил, что подглядывать и подслушивать, и уж тем более ябедничать – это дурно!

Николай с изумлением наблюдал за Тамарой Викторовной, мысленно прикинув, сколько в нынешнее голодное время мог стоять коньяк «Наполеон» и откуда у мерзкого, «крученого» прыщавого хлыща, в компании с которым он неоднократно встречал Артема, могли бы взяться такие деньжищи? Следом за этими размышлениями в мозг прокралась брезгливая догадка: да, видимо, девочкам во дворе вряд ли стоит ждать свадебного торжества рука об руку с Артемом – место подле этого красавца явно было занято «далеко и надолго». От всего этого Николай вдруг затосковал...

А Тамара Викторовна тем не менее, словно ничего не случилось, мгновенно преобразившись обратно в гостеприимную хозяйку, елейным тоном попросила Валью подать тарелку «для гостя» и стала собственноручно намазывать «Раму» на еще один только что «выстреленный» из тостера кусочек батона.

– Присаживайтесь, Николай, я как раз вам горячий хлебушек под джем приготовила.

– Нет-нет, спасибо! Я не могу!

Он мучительно искал повод уйти и все никак не мог подобрать какую-нибудь приличествующую моменту фразу: странная липкая атмосфера этого завтрака буквально затягивала его своим душным дурманом.

– У меня там Анютка одна, Ленка в магазин убежала, – неожиданно для самого себя вдруг выпалил он.

– А вы идите возьмите Анютку и приносите ее сюда... Дети с ней поиграют. И ей будет не так скучно, правда, дети?

Семь голов послушно кивнули, восемь пар глаз буравили Николая, и самым неприятным был взгляд, от которого он никак не мог уклониться, – чернослив глаз Тамары Викторовны на ее несколько лошадином, крупном лице отчетливо отсвечивал теперь лихорадочным антрацитовым блеском.

– Нет, ну... это, вероятно, невозможно... она только что уснула... – проблеял он в окончательной растерянности, отступая из столовой в холл в поисках входной двери. – Я все же пойду – вдруг проснется...

В проеме он столкнулся с Артемом, несущим обклеенную яркой этикеткой непривычной формы банку.

– Ну, раз Николай не хочет, – опять же как ни в чем не бывало сказала Тамара Викторовна, – Артем, тебе придется отнести джем на место. А вам, – она окинула строгим взглядом детей, – не отвлекаться от завтрака.

Семь пар глаз, уже жадно «съевшие» всю банку, покорно опустились к овсянке, а Артем круто на каблуках развернулся и одновременно с Николаем вышел из столовой.

И, конечно же, Николай с того странного утра совершенно безотчетно стал соседку избегать: пережидал выйти из своей квартиры, если слышал, что семья копошится в тамбуре, переходил дорогу, если загодя видел Тамару Викторовну на улице, даже выскакивал из автобуса, если с соседкой доводилось оказаться в нем одновременно. Отчего-то более всего на свете он не хотел еще раз «напороться» на ее пристальный, лихорадочно-блестящий и так неожиданно, так неуместно ласковый взгляд.

И вот теперь в кромешной тьме лестничной площадки ее нескладная, сухая, широкоплечая фигура в нелепо накинутом поверх спортивного костюма банном халате была так недопустимо близко, что ему захотелось отодвинуться, вжаться в стену. Но отодвигаться было некуда: прямо перед его лицом в свете свечи рисовались рычажки предохранителей, а плечом он упирался в раскрытую железную дверку щитка.

– Подождите, так и у вас тоже нет света? – вдруг сообразил он.

– Нету, – с неожиданной готовностью кивнула Тамара Викторовна. – Я, собственно, почему и вышла... как и вы – проверить пробки. – И она опустила глаза.

– Значит, во всем доме нету... А я думал, это у меня лопнувшая лампочка свет выбила... Тогда нет смысла тут больше торчать...

Он аккуратно прикрыл дверцу лестничного щитка и двинулся к своей квартире. Тамара Викторовна засеменила за ним. Тени их в свете двух свечей колебались и плясали, причудливо изгибаясь на лестничных пролетах и в углах.

У своей двери Тамара Викторовна неожиданно задержалась:

– Николай!

Он обернулся.

– А я что-то давненько Леночки не вижу...

– Да она с Анюткой в деревне у отца, – неохотно ответил он, желая как можно скорее попрощаться.

Но Тамара Викторовна прощаться явно не собиралась.

– Вы меня простите, если я лезу не в свое дело, Николай... Но я так... по-человечески, по-соседски... Вы целыми днями дома... Вы ушли из института?

– Нет. Просто он фактически не работает.

– Ну да, ну да, – покачала головой она. – Это теперь повсеместно... И... как же вы живете? Почему же с Леночкой не уехали?

– Ищу работу, – меньше всего Николаю хотелось обсуждать с соседкой состояние своих плачевных дел. – Доброго вечера, Тамара Викторовна!

И он уже хотел было закрыть двери, когда свеча соседки снова качнулась в его сторону.

– Николай, подождите!

Он нехотя высунулся опять – проклятое воспитание!

– Скажите, а вы же понимаете в электричестве?

Николай усмехнулся.

– Естественно.

– Но тогда... пока вы не найдете работу, я, может быть, могла бы помочь... если, конечно, вас это не оскорбит...

Два черных глаза в неверном свете свечек горели сумасшедшим лихорадочным блеском. Николаю опять стало как-то мутно-тоскливо, к тому же в надетых на

босу ногу ботинках подстыли ноги.

– У моих знакомых что-то случилось с проводкой, мигает свет, – тихо и вкрадчиво заговорила Тамара Викторовна. – Не работают две розетки... Люди вполне интеллигентные... не знают, к кому обратиться... Вы могли бы им помочь, а они... они вполне в состоянии поблагодарить за работу...

В первый момент Николай словно задохнулся – было такое ощущение, что его ударили в грудь. Он даже обрадовался, что при свете свечей достаточно темно и вряд ли Тамара Викторовна разглядит, что с ним происходит. Хватанув ртом душный, пахнувший расплавившимся стеарином тамбурный воздух, он хотел было уже совсем попрощаться и закрыть дверь, но неожиданно вспомнил, что сегодня ничего не ел и что завтра есть ему будет совсем-совсем нечего. И послезавтра тоже. И что начался ноябрь... Что в деревню к своим хорошо было бы съездить хотя бы на Новый год – говорят же, что, как его встретишь, так и проведешь. А провести следующий год без Ленки и Анютки ему вовсе не улыбалось.

– Я, конечно, не могу настаивать, – едва слышно продолжала говорить Тамара Викторовна. – Но мне кажется, это было бы для вас сейчас... как бы... некоторым выходом из сложившегося положения на первое время...

Николай по-прежнему молчал. Уже даже понимая, что молчание его сильно затянулось и становится почти неприличным, он по-прежнему не мог выдавить из себя ни слова, пытаясь справиться внутри себя с чем-то, что так же сильно беспокоило, как и тот «темный провал», в который он упирался в своих рассуждениях о новой реальности.

– Если вы, конечно, не против, давайте сделаем так, – улыбнувшись, сказала Тамара Викторовна. – Идемте, я дам их телефон, а вы уже сами дома для себя решите, будете им звонить или нет.

– Спасибо! – и опять неожиданно для себя самого Николай шагнул к Тамаре Викторовне, прикрыв за собой дверь своей квартиры. – Да, давайте... на всякий случай... не сам, так найду им кого-нибудь поприличнее...

Но где-то в глубине души он понимал, что искать никого не будет, потому что Новый год он должен встретить с отцом, Ленкой и Анюткой, а иначе... иначе и

без того треснувшее по всем швам бытие окончательно разъедется, и он, уже заблудившийся в этих трещинах, не сможет уцепиться даже за какой-нибудь ошметок...

В квартире Тамары Викторовны было странно темно и тихо.

– Проходите, проходите! Дети еще кто в садике, кто в школе на продленке, кто в кружках... Нет-нет. Не сюда... Сюда, пожалуйста...

Он пробирался за ней через холл и далее по какому-то коридору, где чуть не упал, запнувшись о трехколесный велосипед, пока не щелкнул ключ в замке? и они не очутились в небольшой комнатке, которую почти всю целиком занимала гигантская кровать. Пока Николай справлялся со своей неловкостью, Тамара Викторовна поставила свечу на тумбочку и в поисках записной книжки начала копаться в стоявшей тут же сумке.

Он огляделся. По обе стороны двери от пола до потолка в стену был вделан стеллаж, на полках которого высились пирамиды из консервов, стопки коробок, какие-то разноцветные пузатые пакеты, пластиковые стаканы и коробочки с яркими цветными этикетками. Блики от свечей играли на боках многочисленных стеклянных банок и бутылок, полиэтиленовых, прочно запаянных прозрачных упаковок, в которых он с удивлением разглядел очертания сыров, колбас и даже рыбы, почему-то хранящихся вне холодильника. Вдоль другой стены, в ногах кровати, стояло несколько мешков – по-видимому, с крупой, а в углу у окна был втиснут довольно большой холодильник, на котором тоже громоздились горы закованных в целлофан продуктов.

– Вот, нашла! – в неверном колышущемся свете свечи Тамара Викторовна напряженно вглядывалась в свою записную книжку. – Подержите, пожалуйста, я сейчас найду листочек бумаги и запишу вам номер.

Она снова покопалась в сумке, вырвала страничку из какого-то другого блокнота и взяла ручку.

– Ее зовут Лилия Ивановна – моя коллега, наш доцент. Милейший человек.

Она протянула ему записанный номер. И снова он наткнулся на ее антрацитово-отблескивающий в свете свечей взгляд и неожиданно буквально физически

ощутил, что в этой комнате-складе довольно мало места и очень душно.

– Спасибо.

Ему очень хотелось как можно скорее уйти, тем более что вид продуктового изобилия отзывался в нем отвратительно острым чувством голода. Да таким, какого он не испытывал ни разу за эти три недели. Но он не знал, как это нужно сделать, настолько двусмысленным показалось ему пребывание в этой спальне-складе, в замке? которой торчал ключ, где неприлично темно и как-то очень пошло оттого, что горят свечи. Было что-то бесстыдно неправильное в том, что он оказался здесь наедине с этой мужиковато-нескладной женщиной, чьи глаза неотступно следовали за каждым его движением, отчего он просто застыл, боясь пошевелиться.

– Вы, может быть, поужинаете с нами? Как раз сейчас будут возвращаться дети...

Этот вопрос вывел его из ступора:

– Нет, нет, спасибо! Спасибо за телефон... Я пойду...

Он потянул было на себя дверь комнаты и, вдруг поняв, что не запомнил пути, которым они шли по этой странной квартире-лабиринту, осознав, что самостоятельно не найдет выхода в кромешной тьме, вновь был вынужден остановиться.

– Николай! А вы когда-нибудь пробовали арахисовое масло?

– Что?

Тамара Викторовна нырнула куда-то вниз, к полу, и из темноты достала высокую увесистую серебристую банку с пластиковой крышкой и без этикетки.

– Это настоящее американское арахисовое масло. Возьмите. Попробуйте!

– Нет, нет. Спасибо!

Она рассмеялась тихим и неожиданно мелодичным, каким-то рассыпчатым смехом.

– Не думайте, вы тут никаких сирот не обделите! Это единственное, чего мои дети терпеть не могут. А нам его привозят в больших количествах. Смотрите!

Она нагнулась, опустила свечу и подняла край покрывала. Он присел: стройные плотные ряды таких же банок уходили, сколько хватало свечного света, в подкроватную мглу.

– Убедились? Тогда берите две, – разогнулась Тамара Викторовна, попутно выхватив еще одну банку и аккуратно опустив покрывало.

– Да, спасибо, – машинально ответил Николай, понимая, что если начать отказываться, то эта двусмысленно-фантаσμαгоричная сцена будет длиться бесконечно. – Спасибо. Я попробую. Я пойду?

Она вышла в коридор вслед за ним, тщательно заперла дверь и положила ключ в карман халата.

– Идемте, а то вы тут у нас заблудитесь.

Прижимая к себе банки, держа свечку над головой, спиной ощущая присутствие Тамары Викторовны, словно под конвоем Николай проследовал до входной двери.

– Стойте! – вдруг воскликнула она. – А у вас хлеб есть?

– М...мм... ммм, нет, не купил, – машинально соврал Николай.

– Тогда ждите!

Ее свечка свернула куда-то во тьму и тут же замаячила обратно.

– Держите! – она протянула пакет. – Тут два батона... у нас прямо недоразумение какое-то с утра: я хлеб купила, и Артем принес, и Витя... Если масло понравится – приходите еще, я с удовольствием с вами им поделюсь.

Оказавшись в тамбуре, Николай облегченно вздохнул, когда за его спиной тихо щелкнул дверной замок. Толкнул дверь в свою квартиру и сразу направился в комнату отца, но на полпути вспомнил, что там все усыпано стеклами, которые без света он собрать будет не в состоянии, и с досадой прошлепал на кухню.

Свеча почти догорела, поэтому, поставив банки и бросив пакет на стол, он полез в пенал за следующей. Потом долго искал, во что же ее поставить, нашел какой-то стаканчик, накапал туда стеарина. В свете двух свечек – одной догорающей и одной бодро и жизнерадостно затрещавшей фитилем – в кухне стало светлее и уютнее.

В пакете кроме двух батонов оказалась большая круглая пластиковая коробка, на которой было написано «Rama», и маленькая ярко-желтая прямоугольная картонная.

– Lipton, – прочел он. – Yellow Label Tea.

Щедрость соседки превосходила все мыслимые приличия.

– Да у меня, можно сказать, сегодня пир горой! – не слишком весело пошутил он и привычными движениями зажег конфорку под чайником, достал чашку, уселся за стол.

– Ну-с... Арахисовое масло... Посмотрим, что это за зверь такой, – сказал он сам себе и хватанул ножом по батону.

Густая, чем-то похожая на горчицу масса равномерно растеклась по поверхности куска хлеба. Он откусил и тут же понял, что без чаю горьковато-приторно-сладковатую еду не проглотит. Но чайник еще и не думал закипать, и от нечего делать Николай уставился в окно, за которым беспросветно, монотонно моросил мелкий дождик. Шла вторая половина осени, однако о снеге не стоило и мечтать. Ни один фонарь не освещал глухой, сопливый ноябрь. Темно и нудно было за окном.

Наконец чайник свистнул, Николай распечатал коробку, достал пакетик, с удивлением обнаружив, что чувствует едва уловимый аромат чая.

– Эко я... изголодался-то, – невесело усмехнулся про себя и с наслаждением глотнул обжигающую терпкую жидкость.

Отрезав второй кусок хлеба, Николай сперва намазал его тонким слоем того, что было похоже на сливочное масло, и только потом добавил слой арахисовой массы. Вкус стал мягче, не так сводило горло от непривычно-резкого, приторного ощущения жирной сладости.

Еда оказалась неожиданно сытной, и от двух бутербродов он разомлел... Лениво рассматривая увесистые, тусклым серебром отсвечивающие жестяные банки, Николай прикинул, что при экономном использовании этого ему хватит еще как минимум на месяц. Надо только обеспечить себя хлебом. Покопался в кармане штанов, достал смятую бумажку с телефоном.

– Лилия Ивановна, говорите... доцент... Розетки, говорите, сгорели... ну-ну...

Давясь собственным сарказмом, он швырнул бумажку на стол, аккуратно завернул хлеб, убрал в буфет банки, чай, блюдечко, на которое выложил уже использованный пакетик (авось заварится второй раз), ополоснул нож и чашку...

Дальше делать было нечего. Потому что, разглядывая листок с записанным на нем телефоном в свете свечи, он понял, что почти не различает букв и цифр. А значит, пока не дадут свет, работать не сможет. То, что читать и писать в таких условиях он не приспособлен ни физически, ни психологически, вызвало у него новый приступ самоиронии. И потому что вспомнил: все великие базовые открытия в физике были произведены и записаны именно в неверном пламени стеариновых огарков, и потому что ощутил вдруг, что неожиданно быстро привык к своему пусть однообразному, странному, но строго размеренному бытию. Теперь же, когда в нем произошел досадный сбой, он не знает, чем себя занять.

От непривычной сытости клонило в сон. Прихватив догорающую свечу, Николай добрал до комнаты отца и, по памяти обогнув предполагаемый ареал рассыпанного стекла, рухнул на диван.

В их с Ленкой кровати он не спал со дня ее отъезда. Тогда, вернувшись из деревни, чтобы заглушить в себе Анюткин крик, не выветрившийся из памяти за почти три часа дороги, он тут же сел работать. Очнулся далеко за полночь.

Голова гудела, разбирать постель было лень, и он, не раздеваясь, даже не сняв ботинки, устроился на отцовском диване.

С того вечера так и повелось: отпадая от расчетов и выкладок, гипотез, тезисов и выводов, он, закутавшись с головой в старенький клетчатый плед, сворачивался под ним калачиком и проваливался в тяжелый густой сон.

Да... и вправду... Его быт как-то быстро опростился до невозможного, словно с облегчением отбросив все лишние заботы, связанные с необходимостью «выходить в люди». Ничуть не парясь тем, что спит не раздеваясь, а даже радуясь этому – не надо будет устраивать день «большой стирки», возиться с просушкой и глажкой белья, тратя драгоценное время на эти глупости! – уже на вторую неделю своего отшельничества он перестал и бриться. Сперва ему даже было забавно каждое утро рассматривать в зеркале ванной комнаты свое постепенно затягиваемое рыской щетины и оттого становящееся каким-то не своим, непривычным, лицо – бороды он никогда еще не носил и потому испытывал жгучий интерес: а каким он с ней будет? Но это занятие быстро ему наскучило, поскольку ожидаемого ощущения собственной академичности борода не прибавила. Поэтому всей радости от нее было в том только, что не приходилось теперь каждое утро, чертыхаясь, выскребать бритвой кожу до синевы. И вскоре он принимался рассматривать себя в зеркале только тогда, когда стремительно курчавившаяся поросль начинала ему мешать и ее приходилось неловко укрощать ножницами.

От прежней «цивилизованной» жизни осталась только привычка окончательно просыпаться под душем, постепенно, по мере возвращения к реальности дня, убавляя горячую воду и выскакивая из-под окончательно ставшей холодной струи прямо в банный халат уже свежим, бодрым и готовым к работе.

В остальном же... Две майки, куртка от спортивного костюма на случай, когда в отцовской комнате становилось сыровато, пара треников – оказалось, что человеку не так уж много надо, если он ежедневно не выносит свою «тушку» на всеобщее обозрение.

Сам собой выработался и нехитрый режим: строго по понедельникам он нехотя гонял по комнатам пыль. И то скорее из нежелания получить от вернувшейся Ленки взбучку за запущенную квартиру, нежели от большой потребности в чистоте и порядке. По понедельникам же он и стирал. Как и большинство граждан своей страны, искренне ненавидя начало недели, он из какой-то

безотчетной мести своему прежнему образу жизни принципиально сделал его выходным. Заняв большую часть этого никчемного дня хозяйственными заботами, потом, даже если оставалось время, он уже не работал, а блаженно бездумно валялся на диване с книжкой в руках.

Однажды, наугад вытащив с полки толстенный неопознанный том, он неожиданно для самого себя неторопливо и с наслаждением перечитал «Войну и мир». И вдруг понял, что в свое время пропустил в этой эпопее все самое интересное. Решив проверить свою догадку, он целенаправленно нашел давненько читанную им «Анну Каренину», после чего окончательно утвердился в справедливости от кого-то слышанной мысли: хорошие книги следует читать дважды. Сперва в ранней юности со всеми ее заботами, жаждой и нехваткой приключений, судорожно впитывая все перипетии встреч-расставаний, побед-поражений, потерь и обретений героев. И, конечно же, потом... Когда накапливается запас личного жизненного опыта. Как вода в любимых им в детстве переводных картинках разъедала тонкую, мутную бумажку, скрывающую вожделенное изображение, так и собственное пережитое при перечитывании стирает флер сюжета, обнажая под его туманной пленкой ярчайшие краски смысла.

За Толстым последовали Диккенс, Пришвин, потом Марк Твен, который, как оказалось, написал не только «Тома Сойера». Словом, занудные осенние вечера Николай проводил в изысканной компании мыслителей прошлого, получая удовольствие от того, что не только разделяет их суждения, но и – теперь уже! – дополняет своими размышлениями, которые набрасывал косыми строчками карандашом на длинных полосках бумаги, вкладываемых между страниц.

Убедившись в том, что любая книга, которую он доставал с полки, была готова говорить с ним теперь глубинно-понятным, близким его ощущениям языком, он вскоре просто перестал выбирать и, закончив одну, наугад вытаскивал из шкафа другую. Эта своеобразная лотерея мотала его воображение по городам и странам, временам и событиям, сюжетам и судьбам, разворачивая перед мысленным взором гигантскую панораму человеческой жизни, которая, как оказалось, была и раньше не только не менее напряженной, трудной и запутанной, чем его собственная, но и удивительно схожей с современной. Менялись только костюмы, прически и манеры. Все остальное было таким же: те же страсти, обиды, радости и огорчения...

Угревшись под пледом и некоторое время проведя в сытой полудреме, Николай осознал, что заснуть окончательно ему не удастся. Он снова зажег огарок и наугад протянул руку к полке с книгами.

– Баратынский!

В слабеньком, мерцающем свете огарка читать, конечно, было трудно, но можно. И тут на него накатил новый приступ сарказма.

– Романтика одиночества при свечах... в мечтах и грезах... Бред какой-то...

Однако томик не отложил в надежде, что старомодный, громоздко-громыхающий патетичными строфами классик подействует на него добрым снотворным. Потому повыше взбил пыльную диванную подушку так, чтобы голова была как можно ближе к стоявшей на краю придиванного столика свече, и наугад раскрыл книжку.

Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель,

Ты был ли, о свободный Рим?

К немym развалинам твоим

Подходит с грустию их чуждый навеститель.

За что утратил ты величье прежних дней?

За что, державный Рим, тебя забыли боги?

Град пышный, где твои чертоги?

Где сильные твои, о родина мужей?

В душе зашевелилось неприятное ощущение беспричинного раздражения...

Тебе ли изменил победы мощный гений?

Ты ль на распутии времен

Стоишь в позорище племен,

Как пышный саркофаг погибших поколений?

Мысль, которую он так старательно забивал работой, вырвалась из тисков воли и, зажегшись, стремительно побежала по нервам, как огонек по бикфордову шнуру... Мозг взорвался болью, заломило в груди. Николай сбросил плед и рывком поднялся.

Под тяжелыми обложными ватными тучами над городом стояла плотная непроглядная мгла, так плотно прилипшая к оконному стеклу, что оно, как зеркало, беспощадно отразило помятое, несвежее, закучерявившееся неопратно-обкорнанной бородкой мужское лицо. Всегдашняя короткая стрижка давно уже утратила форму, волосы в беспорядке рассыпались надо лбом. Вытянутая линялая домашняя майка бесформенно свисала с плеч...

Взгляни на лик холодный сей,

Взгляни: в нем жизни нет;

Но как на нем былых страстей

Еще заметен след!

Так ярый ток, оледенев,

Над бездною висит,

Утратив прежний грозный рев,

Храня движенья вид.

Книжка глухо шлепнулась на диван...

Николай, впервые за месяцы своего одиночества, вдруг совершенно отчетливо понял, что его жизнь как-то безвозвратно остановилась. Вернее – если уж быть до конца честным перед самим собой – он зачем-то остановил ее сам.

Как никогда остро он почувствовал вдруг, что эта ноябрьская беззвучная глушь на самом деле обманчива. Войлочная непроницаемость ночной мути была полна миллионами звуков! Где-то по дорогам по-прежнему ехали машины, куда-то спешили прохожие, кто-то с кем-то встречался под Пушкиным, в театрах к этому часу заканчивались спектакли, в кино начинался ночной сеанс... Во всем том, что

он ощущал как нечто непоправимое, люди тем не менее как ни в чем не бывало продолжали жить: спешить на работу, добывать себе пропитание, влюбляться, рожать детей, водить их в детский сад и в школу, кружить по этажам универмагов и универсамов в мучительном выборе, что бы такого на себя надеть или чем бы поужинать... Так, словно бы ничего и не случилось, они, обычные нормальные люди, продолжали «дружить домами», ходя друг к другу в гости, смотреть телевизор, смеяться от души шуткам, которые ему почему-то показались несмешными, строить планы на будущее и продвигаться по карьерной лестнице. И только его жизнь почему-то стала измеряться десятью квадратными метрами этой комнаты – три шага от дивана до письменного стола, пять – от окна до двери.

Под ногами хрустнули стекла, но Николай теперь не обратил на это никакого внимания.

Как, почему и зачем с ним это случилось? Что такого произошло в его судьбе настолько серьезного, что он полностью отрезал себя от этой привычной людской суеты? Почему этого не случилось с ними – с теми, кто сейчас в полной темноте, словно не замечая аномальности отсутствия света фонарей, бодро догоняет автобус или, снимая мокрую куртку в прихожей, целует жену и треплет по голове ребенка? С теми, кто, в трепетности чувств чуть сбиваясь с дыхания, ведет свою девушку в кафе? Кто в общежитии зубрит ответы на билеты перед экзаменом? Кто готовит суп или жарит картошку? Кто метет улицу или разгружает уголь?

Удивительным образом он не отдавал себе отчета в том, что все происходящее с ним – следствие его последней встречи с шефом и его гостями. Она казалась ему не только естественным итогом их многолетних, весьма специфических взаимоотношений, но скорее логичным следствием чего-то еще более важного... Но чего? Что случилось с ним, именно с ним, такого особенного, чего не случилось со всеми остальными? Почему сошел с привычных рельсов поезд только его жизни? Что? это, то самое, навсегда – а он чувствовал навсегда! – изменившее в нем ощущение реальности? Теперь ведь и представить себе невозможно, что было бы иначе.

Формально все очевидно. Ответы на все эти вопросы напрашивались сами собой. Ему просто некуда было возвращаться, негде было дописывать диссертацию. Ведь, строго говоря, то, что аккуратной стопкой лежало в папочке на левой стороне письменного стола, собственно, научным текстом еще не являлось. Это

была цепь его интуитивных догадок и логических выводов из них – да, бесспорно, неожиданных, смелых до запредельности, удивительно стройных и обоснованных теоретически. Но чтобы перейти из области гипотез в область научно доказанных фактов, они в обязательном порядке требовали экспериментального подтверждения на сложнейшем оборудовании, которое могло бы быть изготовлено в его институте. И которое – может быть, в этом коренилась причина его тоски, потому что он это хорошо осознавал? – уже никогда не будет там изготовлено.

Вероятно, поэтому он не сожалел о том, что два месяца назад в туалете «дал в рог» своему шефу – потому что знал: институт не умирал, институт уже умер.

Николай в досаде задернул штору, которую, кажется, ни разу не закрывал с момента своего возвращения из деревни. Плотная ткань с едва уловимым шелестом покорно-ровно обвисла, тем самым образовав четвертую глухую стену комнаты. Коробочка закрылась. И он был в нее замурован.

Нет, нет, нет, все было не так безнадежно. Совсем наоборот. Он и сам подумывал об этом еще в те дни, когда ходил на работу, и по мере того как продвигался в своих записях в пресловутой общей тетради, эта мысль в нем крепла и оформлялась: можно позвонить Витьке в Новосибирск. Там ему будут рады – это он хорошо помнил по последней научной конференции, на которой выступал примерно год назад. Едва он в докладе лишь упомянул о некоторых своих догадках, так сразу же, не успев даже толком собрать свои листочки и сойти с трибуны, получил приглашение от руководства института разрабатывать эту проблему на их базе.

– Ну ты, старик, даешь! – хлопал его тогда по плечу Витька, уже к тому времени не только успешно защитивший докторскую, но и сделавший в Новосибирске неплохую карьеру: своего бывшего московского однокурсника он принимал тогда в собственном кабинете, будучи в чине заведующим. – Ты как вообще на это вышел? Как вообще решился?

Николай тогда, не отвечая, улыбался, упорно смотря в плещущийся в рюмке коньяк: Витька явно лукавил! Ведь разрабатывать эту тему они еще с первого курса мечтали вместе.

– Ну ты... это... не тушуйся, – между тем перевозбужденно размахивал руками разгорячившийся Витька, мотаясь из угла в угол по своему помпезному кабинету. – Ты, как надумаешь, давай к нам... Тем более ты с темой своей ко мне попадешь... Местечко мы тебе найдем... Квартиру выьем... Темища-то у тебя какая... Государственная! И как ты ее... а? Не-е-ет! Я всегда знал, что ты... это! Ты у нас всегда был... как надо!

Витька, ероша волосы, то восхищенно замирал у своего стола, то снова срывался в суетливый бег и периодически больно задевал углы, но, видимо не замечая этого, лишь машинально потирая то одно, то другое ушибленное место.

– А мы тебе под это твою же московскую «трешку» и выьем! – снова хлопал он Николая по плечу так, словно дело было уже решенное. – Будете с Ленкой без родителей жить!

И снова заходил на круг – от окна к двери.

– Что ты там в этом московском гадюшнике забыл? Тебя же там порвут! А не порвут – так обсядут... Семеро с ложкой на одной обложке, как говорится... Мы-то тут поскромнее, посовестливее... Люди провинциальные, неторопливые, основательные... науку больше «нобелевки» чтим...

И под обаянием этого успеха и этого разговора Николай на обратном пути, подремывая в самолете, и в самом деле стал всерьез обдумывать разговор с Ленкой о возможности переезда в Новосибирск...

Но потом... Потом все как-то само собой закрутилось... маленькая Анька... неожиданно выросшие в проблему еще вчера не замечаемые бытовые передраги... долгая и тяжелая болезнь матери... ее смерть, в которую никто до последней минуты не хотел верить...

Да... В Новосибирск, конечно, позвонить было бы можно... И с этим потаенным «запасным аэродромом» в душе он, собственно, и продолжал покрывать неверными каракулями страницы своей «заветной тетради», постепенно прорисовывая в ней контуры будущего исследования. Эта возможность словно бы придавала свободы его фантазии, избавив от обрыдлой необходимости подстраиваться под конъюнктуру, задаваемую шефом.

А неформально... Неформально – что же мучило его сейчас, замкнутого в самого себя, как в эту коробочку из кремовых стен? Почему при мысли о Новосибирске ему не становилось легче? Почему сейчас ему так пакостно на душе, что он, в принципе не имевший привычки «лечить» какие-либо проблемы горячительным, будь у него деньги, не поленился бы сбежать и с наслаждением «угговорить в одно лицо» изрядную бутылку чего-нибудь крепкого?

Николай шагнул из комнаты в коридор. Уже не раз и не два обшаривая кладовку и полки шкафов, он хорошо помнил, что спиртного в доме нет. Запас еще прошлогодней талонной водки (ни сам Николай, ни отец как-то особо не употребляли) он в первую свою поездку в деревню захватил с собой. И, как оказалось, не зря. В качестве валюты за особо неудобные и грязные работы она вполне сгодилась для торгов с деревенскими: мешать цемент, помочь отцу вскопать огород, разгрузить и допилить дрова, натаскать из лесу грибов под закрутки.

Но выпить очень хотелось. И не просто выпить, а так, чтобы прямо напиться. Чтобы поплыла в изгибах неумолимая геометрия стыков стен и потолка, чтобы закачалась сама собой под ногами прочная палуба пола, затяжелела голова, а тело чтобы стало легким, невесомым, почти неосязаемым... И чтобы мир вокруг стал тяжелым и протяжным, видимым словно сквозь густую, плотную массу океанской воды.

Но, как и ожидалось, ничего горячительного он так и не нашел. И чуть ли не впервые за все это время серьезно пожалел, что у него совсем нет денег и их неоткуда взять. Разве что позвонить сейчас в соседкину дверь?

Николай понимал, что эта странная женщина, чье лицо отчетливо напоминало морду доброй, чуть исподлобья глядящей грустной лошади, непременно и с радостью ему денег одолжит... А может быть, и одалживать бы не пришлось... Попроси он, только намекни... И в ее чудесной спальне-складе наверняка нашелся бы для него какой-нибудь экзотический коньяк, виски или джин – то, что простой русской водки у Тамары Викторовны точно не оказалось бы, он тоже осознавал.

И тут же услужливое воображение дорисовало неумолимо наступившие последствия его визита – и его передернуло... С ума он сошел, что ли?..

В досаде с размаху хлопнув дверью отцовской комнаты, он снова плюхнулся на диван, отозвавшийся сварливо-визгливым стоном старых пружин. Странно – все это время он не замечал, насколько этот звук был омерзителен.

Раскрытая книжка белесоватым пятном «мазала» плед...

Когда исчезнет омрачение

Души болезненной моей?

Когда увижу разрешение

Меня опутавших сетей?

Когда сей демон, наводящий

На ум мой сон, его мертвящий,

Отыдет, чадный, от меня,

И я увижу луч блестящий

Всеозаряющего дня?

Глухой хлопок сомкнувшихся друг с другом страниц, и Баратынский, вероятно с этого момента обреченный прочнейшему забвению, был одним точным движением «сослан» сразу в третий ряд выпирающих и свисающих с полки фолиантов. А сам Николай еще раз поплелся на кухню, наполнил кружку холодной, чуть отдающей хлоркой водой из-под крана, жадно выпил и остатки, совершенно неожиданно для самого себя, вылил на голову.

«Больше никогда ничего не будет как было, – вдруг отчетливо прозвучал в его голове чей-то чеканный голос. – И в Новосибирск звонить тоже не надо... Потому что и там тоже уже ничего не будет как было».

На этой мысли Николай оборвал сам себя. Додумывать ее он принципиально не хотел. Она, совершив в его голове привычно мучительный круг, застревала в определенной точке, упершись во что-то мягкое, податливое и... непроницаемое. И вот это «что-то» и доставляло ему особенную боль, связанную почему-то с ощущением невыносимого, какого-то постыдного унижения... Чем? От чего? И всякий раз, так и не успев разобраться, он снова и снова отшатывался,

отвлекался, занимал себя чем-нибудь, лишь бы не наткнуться на эту гуттаперчевую, пластичную и одновременно страшную, неумолимую стену.

Да... почему-то ничего больше никогда не будет как было. И Витька тоже не будет таким, каким был, а поэтому должен остаться в памяти тем легко воспламеняющимся, воодушевляющимся всякими фантастическими идеями другом юности, каким был в их последнюю встречу... Догадываться или убедиться в том, что он, как и шеф, тоже готов собрать свои чемоданы, Николай почему-то не мог.

«Ничего уже не будет как прежде. Никогда».

Мысль была кристально ясна и жалила своей очевидностью. И он все удивлялся себе: как это он сразу-то не вспомнил, что она уже приходила ему на ум и что именно она подсознательно и не давала ему эти два месяца снять-таки телефонную трубку и набрать Витькин домашний.

Нужно сказать, что после того внезапного и бурного ухода из института Николай не сразу заметил, что телефон теперь молчал сутками. Раньше, сразу после того как засыпала Анька, из коридора доносилось привычное тягучее Ленкино «да ты что-ooo?» в ответ на какую-нибудь очередную чепуху, которую часами рассказывали ей в трубку многочисленные подружки. Проходя из своего «кабинета» на кухню и обратно, Николай обычно дежурно подтрунивал над тем, как неудобно крючилась жена на специально поставленной рядом с телефоном табуретке. И вправду смешно было наблюдать, как, ерзая, подкладывая под себя ногу и снова снимая ее, либо то одним, то другим плечом подпирая стену так, что вскоре на новых обоях заелозилось жирное темное пятно, Ленка часами терпеливо врачевала душевные раны своих многочисленных собеседниц.

Сейчас же, ощущая на пальцах капающий, стекающий со свечки горячий стеарин, он вдруг вспомнил, что когда-то давно, словно в другой жизни, он и сам, бывало, частенько надолго «зависал» на той же табуретке: ему звонили с приглашениями на конференции и симпозиумы, донимали «каверзными» вопросами дотошные аспиранты, коллеги делились последними институтскими сплетнями...

Теперь же телефон молчал неделями.

– А, собственно, чего же ты хотел? – сам себе вслух задал он очевидный вопрос.

В промозглой сырости квартиры его голос прозвучал непривычно надтреснуто-глухо.

– Как говорится, «с глаз долой – из сердца вон»...

Внезапно и весьма нетривиально вывалившись из привычной суеты институтских, пусть и замирающих, но все же пока еще общих для всех дел, коллегам по работе он стал попросту неинтересен.

Николай засмеялся. Забавно, что даже Виолетта не позвонила ему с выговором за пропажу ее «заныканных», вероятно весьма недешевых, чулок... И соседи по кабинету не сочли нужным поинтересоваться, зачем он учинил сей живописный погром... В конце концов отдел кадров мог бы озаботиться его длительной неявкой на работу...

Впрочем, что это он? Ведь в начале октября, буквально на следующий день после возвращения из деревни, он слышал привычную трель из коридора.

Вскоре в комнату всунулась рыжая встрепанная Ленкина голова:

– Ко-оль... Тебя... Или сказать, что тебя нету?

Тогда, с головой погруженный в расчеты, он даже забурчал с досады себе под нос оттого, что его отвлекают.

– Нет, подойду. – И, наскоро черкнув на листочке недописанную мысль, помчался в коридор.

– Да?

– Николай Семенович? – голос на том конце провода был узнаваемо томным.

– Да, слушаю! – ледяным тоном отрезал он.

Интимную вкрадчивость интонации Эллы, ее характерное бравирование «акающим» «масковским» говором, как бы ненавязчиво подчеркивающим ее – не в пример многим! – сугубо коренное, исконное «масковское» происхождение, той самой Эллы, помощницы шефа, которая неизменно украшала приемную директора института своими европейски-километровыми ногами, вечно каким-то немыслимым образом торчавшими сбоку от стола, за которым она сидела, не узнать было невозможно.

– Николай Семенович!

– Да, Элла, слушаю. Что вам угодно?

Элла словно бы и не заметила, что ей нахамили. Значит, ей что-то от него было нужно.

– Я все никак не могу до вас дозвониться... уже который день...

Это была чистейшая ложь, однако ему было противно уличать Эллу, тем самым удлинняя уже отчего-то не нравящийся ему разговор.

– Я только что вернулся из деревни, – нехотя буркнул он. – Вы хотите обрадовать меня тем, что в мое отсутствие в институте стали выдавать зарплату?

Недобро съязвив, Николай в растворенную дверь отцовской комнаты с тоской покосился на письменный стол, все боясь, что, невзирая на «почеркушку», забудет драгоценную мысль, на которой застала его томная любовница шефа.

В трубке на секунду замялись. Но, проглотив и эту «шпильку», все так же интимно, с придыханием продолжили:

– По зарплате вы будете говорить не со мной, а с Валерием Викторовичем. Он же уполномочил меня проинформировать вас о том, что завтра в два часа дня мы ждем вас на Смоленской площади на митинге...

– На Смоленской? На митинге? – Николай напрягся. – Почему на Смоленской? На каком митинге? Я не заметил, как подкралось седьмое ноября?

– Нет... При чем тут седьмое ноября? – мягко прервала его агрессивный наезд Элла и, не тормозя, ласково заворковала: – Завтра сотрудники института, согласно приказу Валерия Викторовича, выходят на митинг...

– Да какой, к черту, митинг?! – взорвался Николай. – И почему по этому поводу мне звоните вы, а не Бол... Борис Борисович?

Обычно организованной явкой сотрудников на все дежурные «майско-ноябрьские» торжества занимался веками несменяемый, бурнокипящий председатель профсоюза по кличке Болек. Вероятно, никто в институте не смог бы сказать, ни сколько этому крохотному человечку в круглых очочках на самом деле было лет, ни как долго и над какой темой работает этот похожий на персонаж популярного чешского мультфильма, рано начавший сидеть плотный мужчинка. Зато он обаятельно компенсировал отсутствие каких-либо способностей к научной деятельности подлинно «отцовской заботой» о сотрудниках института. Касса взаимопомощи, в которой всегда можно было как перехватить до зарплаты, так и одолжиться на отпуск, всевозможные путевки в закрепленные за институтом дома отдыха, своевременная организация дней рождений, юбилеев и похорон, не говоря уже о капустниках к новым годам и обязательным «мужским» и «женским» праздникам, и даже неперемный новогодний «паек» с сакраментальным «Советским шампанским» и красной икрой – все это было в маленьких цепких ручках неутомимого и вездесущего деятеля с неожиданно для его роста и комплекции басовитым голосом. Помня сотрудников по именам, этажам и кабинетам, Болек волок на себе внепроизводственные проблемы всех без исключения сотрудников института, вплоть до раздачи каждому стоящему в первомайской колонне веточек с наклеенными на них вишневыми и яблочными цветами из гофрированной бумаги. Причем Николай сильно подозревал, что и цветочки эти Болек тоже делал сам.

Перед каждым Ноябрем и Первомаем профсоюзный босс вихрем проносился по всем этажам, каждому лично напоминая, куда, когда и во сколько тот должен явиться, чтобы помахать, широко улыбаясь, этими самыми веточками, когда колонна института, после долгого топтания где-то на подступах к Красной площади, будет проходить мимо Мавзолея. То, что по поводу какого-то митинга ему звонила сама Элла, было событием из ряда вон выходящим, и он заподозрил неладное. Как оказалось, не зря.

– Валерий Викторович лично просил меня позвонить вам. Остальные знают и по распоряжению директора института исправно выходят...

– Можно полюбопытствовать, а по какому поводу? – язвительно перебил Николай.

– В защиту демократии...

Николай болезненно поморщился.

– Эллочка, если вы забыли, я физик... Фи-зик! Поэтому демократию или еще что-то там пусть защищают те, кому положено этим заниматься. Скажите лучше, что это за привилегия такая – отдельное приглашение?

– Повторяю: вам меня просил позвонить Валерий Викторович лично, – с многозначительным нажимом произнесла Элла. Но, похоже, оттого что это не производило на Николая должного впечатления, она наконец стала терять терпение.

– Зачем?

– Валерий Викторович просил передать, что после митинга у вас будет возможность побеседовать с ним один на один.

Тут Николай и вовсе закипел. И от нетерпения вернуться к работе, и от желания как можно скорее свернуть этот казавшийся ему комичным разговор, он загарцевал по коридору, чуть не уронив при этом подпернутый за шнур телефон.

– Я что-то не припомню, дорогая Элла, чтобы я напрашивался на аудиенцию! Так что вы уж передайте Валерию Викторовичу мое нижайшее и сообщите, что поскольку зарплату я давно не получал, то время и место разговора я выберу сам, когда мне будет удобно...

– Так Валерию Викторовичу и передать?

– Так и передайте.

Но Элла еще чего-то ждала.

– К сказанному мне добавить нечего! – Для Николая разговор в принципе был окончен, но трубка терпеливо ждала, никак не реагируя, не слышно было даже неприлично интимного Эллиного придыхания. – Можете готовить мое увольнение, – отчеканил Николай.

И трубка с размаху полетела на рычаг.

Из ванной, где вовсю шумела вода – Ленка полоскала белье, – немедленно показалась рыжая голова.

Она никогда ни о чем не спрашивала. Спрашивали ее глаза. И как-то само собой повелось, что если он хотел ей что-то рассказать, то на немой вопрос ее ярко и тревожно горящих глаз начинал подробно и обстоятельно растолковывать суть проблемы. Если же не хотел, то просто поворачивался и уходил, спиной чувствуя буравящий озабоченный взгляд. Уходил, зная, что она не обидится, а терпеливо дождется, когда он сам будет готов поделиться с ней произошедшим.

Вот и сейчас, обтирая руки от мыльной пены, Ленка застыла на пороге ванной.

– Элла, – нехотя пояснил он. – Какой-то митинг на Смоленской... все стадо выгоняют по обыкновению...

Николай уже шагнул было в свой импровизированный кабинет, когда Ленка вдруг тихо и твердо произнесла:

– Не пущу...

– Что? – в изумлении обернулся Николай.

В подобном тоне Ленка с ним никогда не разговаривала.

– Звонила Олька. Вчера на Смоленке ее мужа изрядно помяли. Я тебя никуда не пущу.

Решимость, с которой были произнесены эти слова, смутила Николая. Он неловко потоптался на пороге комнаты:

– Да я, собственно, никуда и не собирался...

И шагнул в растворенную дверь, ощущая, как в квартире повисла какая-то угрожающая, пустая тишина... Совсем такая, какая была в тот страшный день, когда умерла мама...

Потирая лоб, к которому прилип мокрый чуб, он, то и дело запинаясь, натываясь на мебель, добрал из кухни в спальню и со всего размаху плашмя бросился на еще Ленкой аккуратно, без единой морщинки и складочки, постеленное золотистое шелковое покрывало.

Ленка, Ленка, Леночка, Ленуся... Она стояла тогда в коридоре у окна, перед ней на подоконнике высилась стопка учебников, только что полученных в университетской библиотеке, и, не мигая, смотрела на залитый солнцем двор. Тонкий зеленоватый свитерок соблазнительно обтягивал узкие округлые плечи, хорошо обрисовывал неожиданно для такой хрупкой фигурки полную и высокую грудь. И без того тонкая талия совсем уж головокружительно была подчеркнута коричневым пояском. Это все, что Николай успел заметить, задохнувшись от бьющего каким-то бесстыдно-радостным светом ярко-рыжего, в мелких завитушках хвоста, пышностью своей раза в три превосходившего головку, на которой он был стянут такой же зеленой, как и свитерок, лентой.

Видимо, она почувствовала его взгляд, обернулась и... по затененному коридору отчетливо побежали солнечные зайчики.

– Вы можете помочь мне донести этот непомерный груз до аудитории?

– Что?

Он и вправду не сразу понял не только, что она сказала, но и то, что она обращается к нему.

– Я не предполагала, что мне именно сегодня нужно будет получить все это добро... Не то, конечно же, прихватила бы целую телегу с впряженными в нее першеронами...

Казалось, девушка сердилась, но коридор по-прежнему был залит множеством ярких мятущихся отсветов. Будто десятка два мальчишек шалили, ловя втихаря стащенными из маминих сумок карманными зеркальцами щедро разбрасывающее лучи сентябрьское солнце ядреного бабьего лета.

– Да, конечно, пожалуйста! – Он с готовностью подхватил всю эту кипу толстенных справочников, даже не глянув на название верхнего тома. – А вам какая аудитория нужна?

Аудитория у них оказалась одна и та же... И все оставшиеся годы учебы он так и носил за ней то книжки, то зонтики и сумки с тетрадями, то продукты, которые она покупала по дороге домой, когда он шел ее провожать, то плащ или кофточку весенними или осенними теплыми днями, когда ей становилось жарко.

Ни яркая внешность, ни пристальное внимание к ее особе мужского контингента университета каким-то чудом не мешали Ленке учиться серьезно и истово. Характер у нее был отнюдь не сентиментальный, память – феноменальная, а парадоксальная неожиданность решений весьма сложных задач поражала даже выдавшую виды профессуру. Поэтому, когда на последнем курсе вопрос с его аспирантурой уже был практически решен, для него полной неожиданностью стал ее категорический отказ учиться дальше.

Он хорошо помнил день, когда узнал об этом.

На Воробьевых все отчаянно цвело, голова буквально дурнела от ароматов первых теплых весенних дней, и, казалось, никакая сила не могла загнать студентов в душные, темноватые, пахнущие книжной пылью аудитории. Народ, жадно вдыхая пряный, вкусный воздух, гомонил во дворе, оттягивая до последнего момент возврата в аудитории. И даже самые маститые и суровые, остепененные и много-много-награжденные лекторы, сперва поторапливаясь к началу своей пары, неожиданно притормаживали, останавливались, изобретая какой-нибудь совершенно нелепый повод задержаться, продлить свое пребывание в одуряющем аромате беззастенчиво-щедро цветущих яблонь и вишен. Внезапно и необъяснимо молодея, «разморозив» свой всегдашний

академический вид, они легко и свободно шутили, подкалывая студентов, словно заразились от них этой всеуниверситетской атмосферой беспричинной, бездумной праздничной юной беспечности.

Как-то само собой получилось тогда, что оба они, записные отличники, не сговариваясь, не пошли на последнюю пару.

При довольно тесном каждодневном общении между ними за все время учебы не возникало никаких сентиментальностей. Николай даже успел в эти годы пережить две или три довольно близкие, но недолгие связи с девушками с других потоков. Причем Ленка о них знала и всякий раз, заметив, что он, как она выражалась, «косеет», дружески подтрунивала над его увлечениями:

– Не тот ты человек, Николаша, чтобы с дурами дело иметь! – потуже затягивая свой роскошный хвост, авторитетно заявляла она. – Вот попомни мое слово, не тот! Да дура тебя и не выдержит! Ты же женат на физике, а бабья ревность такого соперничества не перенесет!

И всякий раз она оказывалась права. Все его приключения заканчивались одним и тем же: упреками в недостаточном внимании, в нежелании жертвовать «ради любимой» своим временем и скукой, которую спустя какой-то срок начинали испытывать рядом с ним его подруги.

А он и впрямь не мог поставить их на первое место, даже когда был сильно увлечен. Мучась совестью, зная, что потом придется унижаться, изо всех сил шуткой, подарком или лаской заглаживая вину, он тем не менее мог сильно опоздать на назначенное свидание, не пойти на давным-давно оговоренный «день рождения» и даже забыть о билете в театр, кино или в консерваторию, стоило только Витьке или Ленке зацепить его каким-либо опровержением какой-нибудь любимой мысли, идеи, концепции, с которой он в тот момент носился. Враз теряя голову, споря с ними до хрипоты, ночами напролет пересчитывая свои решения, он опоминался только тогда, когда его девушка либо закатывала ему бурную сцену, либо, как это было в последнем случае, не тратя лишнего пороку, просто уходила к другому.

Ленка тоже все эти годы вела вполне независимый от него образ жизни. Водя за собой хвост кавалеров, среди которых попадались и вполне «сановные» экземпляры, она была неизменным украшением «козырных» вечеринок,

закрытых кинопросмотров, квартирников и самых громких театральных премьер. Уму непостижимо, когда она все успевала? Претенденты на ее внимание буквально соревновались за первенство пригласить ее в кино или на «танцевальный вечер» и даже «покатать на папиной машине». Она же легко и непринужденно пользовалась всеми привилегиями, которые предоставляла ей ее нетривиальная красота. Почти ежедневно Николай с некоторыми ощутимыми уколами в области сердца наблюдал, как по окончании пар перед ней распахивает дверцу «жигуля» или «Волги» какой-нибудь очередной с головы до ног упакованный в забугорную вареную джинсу «козырной валет» и как она с царственным достоинством, не торопясь, усаживается на сиденье рядом с водителем, изящно втягивая в машину ножку в крохотной туфельке. И как, пока очередной ухажер, угодливо изгибаясь, обегает машину, машет ему, Николаю, сквозь лобовое стекло рукой – дескать, вечером созвонимся... Справедливости ради надо сказать, что он не помнил такого случая, чтобы вечером они не созванивались.

Положение «избранных», «золотых голов курса» невольно отделило их от остальных сокурсников, буквально вынудив держаться вместе, а неподдельный интерес, с которым оба относились к учебе, и некоторая «моцартианская» легкость, с которой она им давалась, сблизили, заставив понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда. Они так часто ожесточенно спорили, или, напротив, увлеченно, буквально выхватывая друг у друга догадку за догадкой, решали какую-нибудь общую проблему, или часами торчали в лаборатории, где, затаив дыхание, колдовали над результатами своих расчетов, что к этой самой последней студенческой весне Николаю стало казаться, что они уже прожили вместе целую жизнь.

В то же время Ленка оставалась для него бесконечно далекой, недостижимой, недоступной. Ему казалось, что рядом с этой девушкой должен быть кто-то совершенно иной, нежели он, кто-то такой же яркий, остроумный, свободный и непринужденный, как и она сама, так что он и думать не смел о переводе их прочной дружбы в нечто большее. Да и Ленка все эти годы относилась к нему с некоторым насмешливым покровительством, с одной стороны, не отпуская от себя, а с другой – никогда не беря его с собой в те компании, в которых царил.

Поэтому в том исступленно-цветущем мае Николая все чаще догоняла тянущая душу тоска: не зная до конца Ленкиных планов, он старался не думать о том, что эта весна для их дружбы может оказаться последней, и тихо надеялся на то, что впереди у них будут годы аспирантуры.

В тот день они долго бродили по Воробьевым без всякой цели, что называется куда глаза глядят. Так хорошо, так сладко было осознавать, что после долгого напряжения зимы можно позволить себе это блаженное, безответственное ничегонеделание, что оба ленились даже разговаривать. Блукая по аллеям и аллеикам, сворачивая с дорожек на какие-то заковыристые тропинки, они то путались в буйных зарослях только что вылупившейся из почек и оттого еще клейкой, смолистой, остро пахнущей свежестью зелени, то пробирались через целомудренно-застенчивый хоровод заневестившихся вишен и яблонь, то блаженно подставляли еще не жаркому майскому солнцу свои послезимние бледные «интеллектуальные» лица на внезапно распахиwaющихся просторах полян, залитых сусалью одуванчиков...

Тот куст сирени он не забудет, наверное, даже в свой смертный час! Богатый глубоким цветом, словно плеснул кто-то на ветки изрядную долю фиолетовых чернил, нарядный и в то же время элегантно-строгий, он лениво-барственно покачивал литыми пирамидками соцветий под едва уловимым майским ветерком, распространяя вокруг себя плотный, дурманный сознание карамельный аромат. Николай глубоко вдохнул свежести майского дня, настоящей на сиреневом благоухании, и, кажется, на секунду захмелел, потерял ощущение реальности: хотелось закрыть глаза, лечь в еще не запылившуюся, блестящую, новенькую, но уже загустевшую, затяжелевшую траву, навсегда утонув в ее бесконечных хитросплетениях и...

– Ко-оль! – как всегда певуче протянув имя, вывела его из этого блаженного состояния Ленка. – Ко-оль... я хочу вон ту ветку... Можешь мне ее достать?

Ленкин пальчик указывал на грузно гнущуюся под бременем цвета мохнатую сиреневую лапу, тянущуюся чуть выше его головы.

– Хорошо! Стереги пока!

Николай снял с плеча свою и Ленкину сумки, шагнул к кусту и снова захлебнулся окутавшим его одуряющим облаком сиреневого духа: ноздри жадно ловили запах, хотелось вдыхать еще, и еще, и еще, и в то же время казалось, что легкие уже не могут, не в состоянии впитать, вместить это ароматное блаженство... С усилием стряхивая с себя сладкий морок, он потянулся, пригнул ветку и уже собирался аккуратно отломить от нее солидный побег, как вдруг даже не увидел, не понял, а почувствовал, что Ленка где-то совсем рядом, возле него, как-то невозможно близко...

– Ко-оль, – это прозвучало теперь непривычно, с какой-то совершенно незнакомой и радостно-настораживающей интонацией. – Коо-ль... скажи пожалуйста... ты как планируешь: сперва жениться на мне, а потом писать диссертацию? Или сперва допишешь, защитишься, а потом мы пойдем в ЗАГС?

Ветка с шумом взмыла над головой Николая, он опустил руки и застыл, глядя Ленке в глаза, чувствуя, что буквально вот-вот потеряет сознание – то ли оттого, что задохнется густым сиреневым духом, то ли оттого, как внезапно гулко, ощутимо, осязаемо заколотилось, словно желая вырваться из грудной клетки, его сердце.

Зеленые глаза Ленки под длинными рыжими ресницами были чисты и бесхитростны, в них не было ни тени лукавства, издевки или насмешки.

– А ты... – неожиданно-хрипло спросил он. – Ты что... разве не собираешься в аспирантуру?

– Я – нет! – Ленка звонкой трелью рассыпала по поляне свой лучезарный смех и, протянув руку, сорвала ближайшую к ней ветку с обильной пирамидкой соцветия. – Я собираюсь родить тебе красивую дочку. Или ты все же хочешь сына?

– Да в принципе мне все равно – мальчик или девочка... Дети они... любые... дети... как получится...

Он понимал, что несет чушь, но никак не мог совладать со своими мыслями, которые путались в этом душном облаке сирени, и их совершенно невозможно было не только собрать, выстроить в какую-то осмысленную логическую цепь, но и уж тем более связно выговорить.

– Ты хотел отломить мне во-он ту ветку! – напомнила Ленка.

– Да...

Он послушно, совершенно не соображая, что делает, дотянулся до кучно усеянного сочными чернильными гроздьями цветков отростка, словно во сне, без всякого усилия отломил его и протянул Ленке.

– А... а Петрович знает, что ты... это... в аспирантуру не собираешься? – так и не обрета отчего-то полноты голоса, спросил Николай. – Ведь он столько лет «пасет» тебя с твоей темой... Это будет для него... таким ударом...

– Знает... и даже знает почему, – снова засмеялась Ленка. – Ты же ведь не против, если мы его пригласим на свадьбу?

«Дети»... «свадьба»... впервые в жизни эти слова, такие знакомые, обычные, в привычной жизни не значившие для него ничего, произносились сейчас в применении к нему самому. И он... он удивлялся сам себе, потому что готов был безоговорочно принять их, внезапно наполнившихся каким-то особенным значением, обретших ирреальность, сказочность и одновременно невозможную реальную осмысленность...

– Ну что, пойдём? – Ленка, как ни в чем не бывало, подняла с земли и протянула ему обе сумки. – Мама будет счастлива, она так любит сирень...

Тот день испортил все. Все шесть лет их непринужденного дружеского общения были сведены на нет. Самые простые вещи между ними теперь сделались просто невозможными!

В их встречах теперь, в их даже самых деловых, невинных, рожденных необходимостью учебы и экзаменов разговорах появилась тяжелая и, как ему показалось, банальная вымученность. Невозможно теперь было часами хохотать над случайно оброненными шутками, перебрасываться озорными словечками, которыми они подтрунивали друг над другом, привычно ерничать. Да господи, даже обсуждать что-то серьезное стало мучительно невозможно! Они то и дело зависали в неловких паузах на полуслове оборванных фраз, и даже – он с удивлением это отметил – стали несколько сторониться друг друга. И если раньше, выходя после лекций, когда ее никто не ждал, Ленка непринужденно подхватывала его под руку, то теперь они молча, держась «на пионерском расстоянии» друг от друга и изредка перебрасываясь односложными фразами, добредали до метро. Беря по привычке ее сумку и отдавая у вагона, он сам себя ловил на том, что боится даже случайно прикоснуться к ее руке, точно так же как явно избегает этих случайных касаний и она. И уж совершенно невыносимо было смотреть друг другу в глаза! Потому, частенько оглядываясь оттого, что буквально чувствовал на себе Ленкин долгий взгляд, сталкиваясь с изумрудным, но каким-то лихорадочным, беспокойным сиянием ее глаз, он резко и сердито

отворачивался, одновременно с ужасной, мучительной внутренней неловкостью отмечая, как прячут улыбку окружающие их люди.

А улыбались почему-то вокруг них теперь настолько часто, что оказываться на людях вместе было просто невыносимо. Насколько невыносимо, что впервые в своей жизни Николай почувствовал: он... не хочет видеть Ленку! Он просто не может больше ее видеть! Но, только начав избегать встреч с ней, Николай постепенно осознал, что видеть он ее не хочет потому, что устал от жадно следящих за ними глаз и каких-то нарочито-понимающих ухмылок окружающих. Что между ними встало нечто, что точно нуждается в выяснении только между ними двумя – вне присутствия сокурсников, педагогов, профессоров и просто знакомых, почти физически оскорблявших его своей демонстративной понятливостью. Что они там понимали, когда он сам еще был не в состоянии ни в чем разобраться...

Он поцеловал ее в первый раз спустя два месяца после того «сиреневого» дня. Вконец измотанные тяготной защитой дипломов – почему-то Ленку, Витьку и его уже отчетливо скучающие, утомленные профессора оставили на самый финал этой бессмысленно-мучительной процедуры, – они молча вышли из университета. Витька выбил из коричневой пачки «Опала» сигарету и трясущимися руками чиркнул спичкой.

– Черт... нам сегодня полагается вдрызг напиться... но не знаю, как вы, – голос Витьки чуть-чуть дрожал от медленно потухающего гнева, ибо он защищался последним и его хорошенько потрепали вопросами, – а лично я сейчас поймаю тачку и... спа-а-а-а-ать... я зверски, просто зверски устал...

И первым двинулся к метро... Ленка и Николай все так же молча побрели за ним.

Поздние летние сумерки брали свое: суеющийся у метро город сиреневел, одевался в глубокие тени, от остывающего раскаленного асфальта, забивая дух бензиновой гари, шел вкусный теплый запах, немного напоминавший духмяность свежее испеченного хлеба, и над всем этим смешением людей, звуков, приглушенных в вечернем свете, плыл торжествующий, тягучий аромат зацветающих лип.

Витька действительно поймал такси, из вежливости предложил Николаю и Ленке куда-нибудь их подвезти, зная, впрочем, что они откажутся, потому что

им было не по дороге, и умчался, из машины на ходу вяло махнув им рукой, а они побрели к метро. Сам не зная зачем, Николай шагнул с Ленкой в один вагон, хотя домой ему было в другую сторону.

Ленка прошла по пустому вагону и, устало опустившись на сиденье, прикрыла глаза, а он, прислонившись к стеклу противоположной двери, всю дорогу до ее станции, не отрываясь, разглядывал ее, словно увидел сегодня в первый раз.

Утомленное бледное ее лицо было непривычно серьезно и строго – быть может, таким его делал сон, а может быть, сброшенный наконец груз тяжелейшей последней сессии, «госов» и защиты. Внезапно Николай подумал, что... он совершенно не знает эту девушку! Проучившись рядом с ней все это время, он едва ли представлял себе, чем она живет, о чем на самом деле думает, чего ей действительно хочется, а чего она совсем не любит. Перебирая в памяти теперь уже, казалось, стремительно пронесшиеся годы, он догадался – многое, что думал о ней, складывалось из привычного студенческого ироничного пустобрехства, озорного дурачества, ласкового панибратства, словно маской прикрывавших подлинные лица всех тех, с кем они учились. Какими же были в реальности сокурсники, ныне разъезжавшиеся, разбредавшие с прошедших защит во все концы огромной Москвы, он даже не представлял. Вот и тонкий профиль спящей Ленки был как бы совсем не ее – озорной хохотушки, острозыкой, ироничной, смелой до дерзости красотки, казалось бы мало заботящейся о том, задела ли она кого своим словом, было ли оно сказано кстати и следовало ли его вообще произносить. В такт вагону покачивалась спящая хрупкая девушка с удивительно детским, каким-то чистым, одухотворенным и одновременно мечтательно-наивным выражением лица, черты которого под благотворным влиянием сна сгладились, потеряли резкость, словно поплыли... Ему вдруг стало невыносимо, щемяще жаль ее – маленькую, уставшую, доверчиво заснувшую, словно светящуюся изнутри теми сияющими, вероятно сказочными, снами, что сейчас проносились перед ее закрытыми глазами; снами, которые она, скорее всего, проснувшись, даже не вспомнит.

– Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Сокольники», – громко отчеканил женский голос, и привычка столичного жителя спать в метро глубоким полноценным сном, но при этом просыпаться ровно перед своей станцией, заставила Ленку пошевелиться.

Она с трудом разлепила рыжие ресницы, беспомощно оглянулась вокруг, видимо, с трудом выныривая из своих хрустальных видений обратно в гудящую,

свистящую реальность мчащегося в тоннеле вагона, наткнулась еще не до конца сфокусировавшимся взглядом на Николая, слабо улыбнулась, осветив на мгновение весь вагон, и спокойно, безмятежно вновь сомкнула веки.

И он понял, что ему просто не хватит духу ее разбудить – так сладко, блаженно и, главное, умиротворенно спала она, видимо где-то краешком сонного сознания ощущая, что есть он, Николай, который, конечно же, не даст ей пропустить свою остановку и что-нибудь придумает, чтобы ей не пришлось покидать своего блаженного состояния, и как-то доставит ее домой, как-то так, что ей, безмерно уставшей, не придется прилагать к этому никаких собственных усилий.

Поезд с шумом вырвался из тоннеля и заскрипел, закашлял, тормозя у платформы. Николай закинул на плечо Ленкину сумку, наклонился, неожиданно для самого себя легко поднял ее на руки и шагнул в распахнувшуюся дверь.

– Ты что? – почти не просыпаясь, пробормотала Ленка. – Я сейчас... сама...

Но голова ее доверчиво опустилась на его плечо, и рыжий хвост, разметавшись медно-бронзовыми змеящимися нитями, словно драгоценно затканной золотом паранджой, наполовину скрыл ее чуть улыбающееся лицо.

Он нес Ленку по вестибюлю станции, совершенно не чувствуя веса ее тела, словно летел, и никак не мог справиться с нараставшей в нем абсолютно не свойственной, непривычной нежностью. У самых ступеней – а он готов был нести ее и дальше! – она вдруг слабо зашевелилась и тихо-тихо, согрев его ухо теплым дыханием, шепнула:

– Поставь меня, пожалуйста. Тебе будет тяжело...

Но он не послушался и шагнул на первую ступеньку. Ленка заерзала, соскользнула с его рук, а он вдруг понял, что не хочет, совсем не хочет, ну совершенно не хочет ее – теплую, сонную – отпускать, и крепко-крепко прижал к себе. Она приникла, прижалась к нему, словно выросла в него всем своим хрупким телом, окончательно обмякнув в его руках...

– Не, ну ты глянь... Совсем с ума посходили... Чумовые... То он ее прет через всю станцию на руках, то вдруг встал как вкопанный... Посунься, что ли, жених проклятый, задавлю к чертовой матери, до свадьбы не доживешь... Слышь?

Приземистая, толстая, какая-то вся квадратная тетка, держась за ручки бессмысленно на одном месте полирующего пол «утюга», пританцовывала возле него в нетерпении, а Николай, с трудом выныривая из их с Ленкой такого сладкого дурманящего «вместе», никак не мог понять, чего же она от него хочет.

– Развернуться не могу, слышь! Посунься! – снова рявкнула тетка, и бигудевые кудряшки на ее круглой, как мяч, голове затряслись в праведном гневе. – Тоже нашли место, где обниматься... Вон в парк идите... Все скамейки там ваши...

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

МНС – младший научный сотрудник.

Купить: https://tellnovel.com/averina_mariya/ochen-hotelos-solnca

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)